

Тамара Корвин

САМОЗВАНЕЦ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

Один из персонажей этой правдивой истории имеет статус несколько сомнительный: непонятно, на том он или все-таки на этом свете. Он был единственный сын вдовы, лицо без определенных звятий, после него остались рубашка, джинсы и кое-какие бумаги. Другой жив /ещё жив/ и носит шляпу, пиджак и галстук. Ле за десять до пенсионного возраста он внезапно бросил работу и начал готовиться к путешествию: он и по сей день укладывает чемоданы и более чем когда-либо упорствует в своем намерении, так что можно сказать, что история наша не имеет конца.

Вдвоем /была еще третья, но о ней позже/ они по воле Провидения провели немало часов, спускаясь и поднимаясь по лестницам — лестницы были, разумеется, символические, но достаточно реальной была усталость. Однажды, теряя силы, старший попросил: "помоги": спутник был куда моложе и по природе своей, казалось, не знал утомления: он был бесплотный дух, полный сил и прекрасно сложенный, сущий дюреров Адам, изображенный в саду Эдема рядом с райским деревом и сам на него похожий. Как корни были его босые ноги, тело как ствол, а вверху голова с шевелюрой пышной и роскошной, как крона. Поднимется ветер, зашумят ветви и листья, ствол качается, а корни вцепились в землю — но каков, должно быть, наслаждение уступить и упасть! Этот атлет мог бы своего спутника просто поднять и нести на закорках, потому что тот был ~~малого~~ малого роста, почти карлик.

"Помоги", попросил он, но молодой не ответил, и они по-прежнему шли вверх. Старинная лестница обветшала, широкие ступени растрескались, а мраморные статуи искрошились и лишились рук и голов — в этом было нечто древнеримское и торжественное. Вдруг молодой сказал: "Ты смотришь под ноги — взгляни выше", и "левее", когда путешественник поднял глаза. И правда: там

на повороте, где каменные ступени расходятся веером, удобно было прилечь и передохнуть немного. Спутник умилился: "Вот видишь, каким ты можешь быть хорошим, когда захочешь!"

Он очень устал, но ведь и молодой человек тоже терпел муки вовсе не символические в комнате на 16-м этаже, где лежал распростертый на полу. Окна были раскрыты, и солнце жгло и сжигало его голое влажное тело, пот высыхал и снова выступал, как если бы плоть постепенно таяла как воск, испаряясь, сублимируясь в огненный пыльный воздух, чтобы вот-вот сделаться духом; впрочем, ещё кости, к сожалению.

Меж тем он солнце любил. Да и все здесь на севере любят солнце, ждут лета, а в том году июнь пришел мрачный, потом с 7-го числа погода начала колебаться, тучи редели, и почти 90 часов все смотрели на небо и надеялись; наверно, безбожники и те молились о солнце. И вот 11-го после полудня солнце вышло-и ~~стало~~ проклятием.

Многие, возможно, еще помнят то небывало знойное лето. Жара держалась весь июнь, почти до конца августа, горели леса, вода в Неве сделалась как в горячей ванне, и короткие часы не давали пролады. Тем ужасней было тут под низким потолком на последнем этаже дома-башни" приблизительно как в геенне огненной.

- Какой кошмар, - сказал путешественник, - сущий Ад!

- Может и кошмар, - отвечал лежащий, - потому что неизвестно, Ад или Чистилище. В том и дело, что нет гарантии.

Он был в сознании. Мокрый от пота, он лежал неподвижно посреди комнаты, - или, на уровне символики, в центре птолемеевой эгоцентрической вселенной, которая тоже замерла и только глухо гудела и пульсировала.

- Жужжит как пропеллер, - сказал путешественник.

- И ни с места.

- Да, - сказал путешественник, думая о своем, - если б очутиться на какой-нибудь летающей тарелке, нажать на кнопку и... или еще лучше, знать бы вместо кнопки такое слово, которое превращает неподвижность в движение, - но это слово, навер-

верно, никогда не произносили вслух, ведь никто его не слышал, потому что если б один услышал, то за ним и другой, и все бы его сказали, и вся Вселенная пошла-поехала... — тут он умолк, испугавшись, что сказал лишнее и выдал себя.

— Это Вселенная вообще, — был ответ, — управляется Словом, в соответствующем контексте — Логосом, теоцентрическая Вселенная с центром везде и нигде, а значит — в Слове, которое может быть и не названо, но подразумевается. А моей нужно мое слово, ее обозначающее, и каждому свое, чтоб не было путаницы. И если бы знать, когда дойдешь до кондиции слова — если дойдешь вообще, потому что нет гарантии... Нет, все-таки она завертится!

— Вам от этого вряд ли будет легче, — заметил путешественник, — где-то на периферии воздух будет охлаждаться, но здесь в центре жар только усилится. Знаете — как с комнатным вентилятором...

Он пользовался вентилятором, когда жил в этой квартире — совсем ещё недавно, так что даже вещи не успел забрать. Он обменял квартиру и переселился с окраины в исторический центр города поближе к разным учреждениям: отдал квартиру за комнату — это означало коммунальный коридор, коммунальницу уборную и кухню, но он берег время. У него было много дел.

Партнером по обмену оказался молодой человек, несколько рассеянный и отрешенный. Путешественник показал ему вид из окна с вершины 16-этажного дома-башни — между прочим внизу был пруд, а верхней просто громадная яма с водой, которую кто-то в шутку прозвал Маркизовой лужей. Летом она мелеет и сохнет, весной набухает и даже бурлит, и ходят слухи, что её то ли осушат, то ли наоборот расширят, углубят и очистят. Верхний этаж тем хорош, что над головой не ходят. Летом, правда, крыша накаляется — "но я вам оставлю вентилятор", сказал путешественник. А величайшее достоинство этого дома, добавил он, что стоит дом на краю города, на самой черте, и дальше строить не будут. Это была, возможно, метафора, но партнер только молча кивал: его воля, если он принял метафору за факт. "Чистый воздух, — сказал путешественник, — и вершина, предназначенная для суще-

ств высокомерных, а также для потенциальных самоубийц". Молодой человек даже не улыбнулся.

На какое-то время путешественник уехал по делам во 2-ю столицу — верней — I-ю, если считать с конца истории, как впрочем и с начала, когда она звалась 3-м Римом, — но лет 200 она все-таки была 2-ой, и наверно обе еще не раз поменяются местами. Он уехал, а вернувшись тихо и незаметно поселился на новом месте. Соседки, добрые старушки, ничего ему не запрещали ни в кухне, ни в ванной, и каждый день рады были помочь. В нем они видели мужчину: других-то не было.

То одна, то обе предлагали вилки, ложки, чашки, ведь он с собой почти ничего не взял. В полутемной кухне он плохо различал, две старушки или три, да и старушки ли? Впрочем, не все ли равно. Он был уверен, что переходный период будет недолгий.

Его предупредили: "Вы с нашей соседкой уж будьте поласковей, у нее такое горе". Значит, есть еще одна? "Ах нет,, это та, что сейчас с нами разговаривала и ушла к себе. Еще молодая, почти как вы, и вдова." "Печально..." "Ах нет, это уже давно, а вот у нее был сын единственный..." "Такой прекрасный юноша, красавец, — подхватила другая, — высокий, стройный как тополь или кипарис, впрочем, если кипарис, то вверх ногами: широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги — великолепный экземпляр мужчины! И римский нос." "И он умер?" "Исчез". Ничего неизвестно, весь ужас в неизвестности. Да вот вы же в его комнату... ах, простите!"

"Черт возьми, — сказал себе путешественник, — надо узнать, в чем дело. Как бы это мне не помешало!"

Вот почему он очутился в прежней своей квартире /от которой сохранил еще ключ/, где и произошла вышеописанная сцена.

— Очень рад, что вы живы, — сказал он. — Вообразите, эти старые сплетницы сказали, что вы чуть ли уж не на том свете.

— Они сказали правду, — ответил молодой человек, — и незачем ходить сюда.

- Я уйду, - сказал немного обидевшись путешественник. Он возвратился и никому ничего не говорил. Происшествие казалось сомнительным. Тот свет, иной мир - понимать ли эти слова в переносном смысле, например, молодой человек ушел из этого мира, чтобы жить в своем? Что ж, его дело, в конце концов у каждого свои дела. И уж никак не он, путешественник, будет кому-либо мешать.

А может все-таки сходить туда еще раз?

## 2

Этот нелепый пруд, Маркизова лужа, о которой столько толковали - осушат? наполнят? - теперь в жару пришлось кстати. В ней купались - верней барахтались, потому что лужа обмелела, - а на берегу лежали животами вверх и вниз, как на настоящем пляже. Тут и застал путешественник своего знакомого: он сидел на берегу с удочкой. "Помню его снасть, - рассказывал путешественник, - я глазам не верил: прутик с привязанной леской, а на конце вместо крючка, вообразите, английская булавка! О да, рыболовами потому и делаются, что рыболову имманентно молчание и одиночество, но тогда зачем он тут сидел на бору на юру под тенью, под сенью единственного дерева, прислонясь к нему спиной... как у позорного столба! И деревце даже не зеленое, а серое от пыли. Поверьте, он лицемерил. На самом-то деле ему хотелось, чтобы с ним заговорили, расспрашивали. Для того и сидел, чтоб приставали! Они спросят - а он не ответит. Они смеются - пускай: актеру нужна публика!"

И путешественник спросил:

- Что ж, и это Чистилище?

- Разумеется. Путем публичного осмеяния.

- Но это же Ад! А ты говорил... /прежде он говорил ему "вы", но казалось неловко обращаться на "вы" к душе из иного мира. И как правильно сказать: говорил? говорила?/.

- Я говорил, что не знаю. Ад и Чистилище - технически они почти неразличимы, всё дело в исходе. Но ничего нельзя знать до самого исхода, а его может и не быть.

- То есть если из Ада, - сказал путешественник, - понимаю. И так без конца в неизвестности?!.. А у тебя хоть клевет?

- Не говорил ли ты мне, что здесь будет озеро, прохладное голубое озеро, и много рыбы?

- Неправда, - взволновался путешественник, - я говорил, то есть нам говорили, что эту лужу осушат, и на ее месте будет прекрасный зеленый луг, высокая трава, и свежий ветер будет носиться над ней, наклоня листья травы то назад то вперед, то матовой стороной, то блестящей, и покажется, что это море. На лугу будут пастись коровы, как бы плавающие в волнах травы - исключительно высокой травы, почти в рост человека. Я так и вижу...

Он и вправду как будто видел плывущие коровьи головы - правда, безрогие, впрочем - морские коровы? - это купальщицы надели резиновые шапочки. Но ничего такого не было, и он знал, что не было, а как он мог видеть то, чего не было?

- Все дело в том, что было тут прежде, - заметил дух. - Одно из двух: или это обмелевшее озеро, и тогда его следует осушить окончательно. Или же это невысохшая лужа, наполняемая зимой снегом, а осенью дождями, в таком случае надо ей помочь, пускай примет окончательную форму пруда или искусственного моря. Что было здесь прежде?

Прежде? Это лет 50 назад, когда его еще на свете не было? Впрочем, спохватился путешественник, его же и сейчас нет...

Душа была такая же голая, как в прошлый раз - но тут все были по-пляжному голые, и одетому путешественнику было не по себе. У него мысли путались от жары. Он крикнул:

- Озеро, это именно всегда было озеро, и пускай снова станет озером! Со множеством рыбы!

- Ты же видишь, - ответил дух.

- Я вижу, - заговорил путешественник, жмурясь от солнца, волны, блеск голубой воды, я понимаю - это как мираж в пустыне, на самом деле ничего нет, но я готов поклясться, что вижу то, чего нет, и могу даже коснуться морды этой рыбы...

Эх, рыбы, рыбы, — сказал другой, и рыбы подплыли ближе и высунули из воды пучеглазые морды. Малые со взъерошенной чешуей расположились у берега, за ними те, что побольше, а дальше в глубине смутно видны были огромные тела. — Вам, рыбам, ещё плыть далеко, через всё море, но все-таки вы уже в море, в воде и прохладе. Все званые на берегу стояли, лишь избранных волною подхватило, а кто остался — те не знают, смеяться или плакать, гордиться или закрываться рукавом. Вон острый хвост, а вон акулий плавник...

Он отбросил удочку и лег на спину. Облачко закрыло солнце.

"Все исчезло, — рассказывал путешественник, — в желто-серой обмелевшей луже по-прежнему барахтались и визжали несчастные купальщицы, а он лежал и смотрел в небо, и это жалкое деревце над головой ему, наверно, представлялось изобильной кроной, хотя все листья с него пооборвали, и голые веточки скорей похожи были на торчащие корни. Непревзойденный визионер, он созерцал над собою синее небо, золотое солнце и зеленые деревья, — надеюсь, все 5 чувств у него мутились от зноя, и земля и небо менялись местами, а корни дерева медленно описывали полукруг, поднимаясь вверх. Земля осыпалась с корней! Ах, он мастер был материализовывать метафоры, овеществить аллегории, играть прямым и переносным смыслом — знаете, вроде детских рисунков "мне намылили голову" или "мама пилила папу" — но вот Пророка перепилили буквально, и вы понимаете, что получится, если Евхаристию... Разумеется, речи его были символичны: не рыбы-рыбы, а люди-люди, — видите ли, я, наверно, зря обвинил его в лицемерии, он же страдал там, как у позорного столба, а еще вонь от мусорных баков, и мерзкая пыль, и мухи, а он не уходил, невольник сокровеннейшего инстинкта: хир сидист ду унд каннст ництс андерс. Он сидел, упрямец, идеей удочки ловящий идею рыбы, и ведь английская булавка, символ крючка, была застегнута, чтоб никого не задеть, не поцарапать. Люди — он им не желал зла, я даже думаю — желал им добра... из чего следует, что в реальности он их не выносил, потому что отвлеченно любил и возносил на те вершины, куда взбираясь они иссохли бы от голода и жажды,

ибо он отнял бы у них тяжелые рюкзаки с суповым концентратом и стуженкой, с палатками и спальными мешками, и они в кровь сбили бы босые ноги. Даже те, кто дойдет, задохнутся в разреженном воздухе, у них кровь будет хлестать из носа и ушей. Он был голодный, холодный, свободный — это недаром рифмуется, я знаю, я же возился с его бумагами: он сочинял стихи! От него на меня веяло холодом, даже в жару, и я ежился, содрогаясь. Я забуду Маркизову лужу, и те проклятые лестницы, забуду в первом же транзитном аэропорту и уж наверно во втором, но здесь-то я их помню... То, что он показал мне, был Рай, таким я его и увижу: синее море, Медитерранео, Мар Тиррено, Мар Лигуре, и синее небо, золотое солнце и золотой песок, и свежий ветер, белые рубашки и загорелые лица, и в море парус, ладья без ловцов, без плавцов, — но Рай был и исчез, а это хуже Ада. С другой стороны — разве мне место в Раю? Я бы там не знал как ступить, как повернуться, у меня же на лице написано, кто я и откуда. Рай — это играй, играй, Диззи Гиллеспи, вы все там в белых платьях или белых рубашках... все логично...

Лежащий положил руку под голову. Путешественник сказал:

— Нет, я все-таки не понимаю. Если ты не знаешь, где ты, откуда тебе знать, что нужно делать? Как держать себя?

— А мозги на что? — грубо ответил голый дух.

Ну это еще не гарантия, подумал путешественник. Я ошибся, он меня морочит, он пожалуй и сам не знает, жив он или... Толку ли мне тогда с него? Нет, довольно, не хочу больше видеть ни этот дурацкий пруд, ни этот дом...

— А уж это как тебе угодно, — сказал дух.

Хоть мысли-то он умел читать.

### 3

Иные миры: о них путешественник слышал и — почему бы нет? — допускал их существование. Духи, с которыми беседуют спириты, и нечистая сила, и летающие тарелки, марсиане и 4-е измерение — иных миров получалось даже слишком много, так сказать анбарасс де ршесс, только выбирай. И если дела его шли успешно,

он в них верил, когда же дела замедлялись, начинал сомневаться. Но так или иначе можно допустить Чистилище — 2-ой мир или 3-ий или оба сразу. Правда, Душа Чистилища ему попала не из лучших, но что делать: другой-то не было. Он был немолод и привык довольствоваться малым. Его только смущало, что этот 3-ий мир внезапно оказался уж чересчур реальным, осязаемым, вещественным. Слишком серьезным. Слишком человеческим: его и тянуло, и страшно было, и чувствовал он какую-то странную жалость. В конце концов, он решил больше туда не ходить: у него было чуждое настроение, и малейшая помеха его пугала. Даже и не помеха, а тень помехи. Суеверен он не был, это долгий житейский опыт склонял его к недоверию и печали. Потому-то и приходится называть его здесь "путешественник", "он", а не по имени: из осторожности. Пусть он почти карлик и почти старик, но есть ещё и у него будущее.

Итак, смертоносно жаркое лето шло к концу. Пересохшая земля жаждала дождя, на небе появились облака, потом тучи; чужие друг другу люди, сойдясь, вместе смотрели на небо и, возможно, даже безбожники молились о дожде. И 21 августа дождь пошел и лил до 11 сентября включительно. Окраина — сущее проклятие! — превратилась в болото, и всюду на уровне ртов и ноздрей ощущалась эманация жидкой грязи. Грязь хлябала под ногами, и всё это можно было назвать "Городом-на-болоте" по образцу "Булонь сюр мер" или "Фракфурт ам Майн", а также "Спас на крови" и "Санта Мария сопра Минерва".

Пруд перед домом-башней потемнел и вздулся, но рыболов уже не сидел на берегу. Путешественник застал его дома. Он заметил, что в углу от сырости осыпалась штукатурка — слава Богу не над кроватью, не то обвалившийся ночью кусок мог убить спящего. Во время дождей в квартиру, бывало, заползали всякие жучки и паучки — погреться, обсушиться; и нынешний жилец стоял и разглядывал большого паука на стене. Описание /в стихах/ этого круглого мягкого существа можно найти в бумагах духа, но об этом позже; пока же путешественник подошел и тоже начал смотреть на паука. Минут через 10 в дверь позвонили и вошла

женщина.

- Вот ты где, - сказала она, - ну конечно, я же так и думала, я знала!

К сожалению, путешественник не сумел удовлетворительно изложить то, что произошло дальше. Кажется, он из деликатности хотел уйти, но все-таки остался, и рассказ его можно свести к следующему. Он стоял в дверях, а те двое затеяли как бы игру: сидели за столом и изображали, что, ~~они~~ пьют и едят - словом, воспроизводился званый ~~вечер~~ со многими гостями.

Началось с того, что атлетический дух вытащил стол на середину комнаты и словно бы накрыл его; тогда женщина, как будто догадавшись, вмешалась, стала передвигать пустые чашки и тарелки. "Салат стоял не здесь, а слева, - говорила она, - а блюдо с бутербродами на том краю, и шампанское, все три ~~у~~ бутылки - как же ты забыл! - поставили рядом." Посуда принадлежала путешественнику. "Все должно быть точно так тогда, - повторяла она, - только ты помни, что я тогда была не такая!"

Она приказывала, она была зачинщица и заводила, а молодой человек подчинялся с великой ~~ожиданной~~ неохотой. "В II мы встали из-за стола, - сказала она и поднялась, - потанцевать до полуночи: ну-ка, давай музыку!" И он начал делать музыку, постукивая ложкой по чашке и поскрипывая вилкой по тарелке, а она сказала: "Ты танцевал со мной, но только я была тогда не такая: а какая я была?"

Похоже было на то, как в суде проводят реконструкцию преступления, тем более что она говорила весьма театрально и жестикулируя, не хватало лишь обращения вроде "ваша честь". Она заставила его описать свой наряд - сочетание синего, красного и золотого, но синее было не синее, а темноголубое, и красное - как же назвать этот цвет? - наверно, пурпурный? Он покорялся против воли и бубнил как вызубренный урок, а она его перебивала и рассказывала дальше, т.е. дальше назад о том, как была влюблена в него и задумала в ту новогоднюю ночь соблазнить его уже окончательно и непременно до полуночи, а до тех пор блюла свои губы не только от поцелуев, но и от сигарет и вина. Давно, еще совсем девочкой влюбилась в него - соседского мальчика из

коммунальной квартиры, и влюбясь испугалась, что не хватает красоты. Но она кое-что читала и кой-чего наслушалась, и приклеила на стене репродукцию одной знаменитой итальянской картины — над кроватью, чтобы прекрасный образ был последним, что видели ее глаза перед тем как закроются на ночь, и первым, что увидят утром по пробуждении. Она надеялась постепенно, путем постоянных упражнений приобрести сходство с женщиной на картине. Шли годы, и время от времени она вставала перед изображением с зеркальцем в руке — но это было крохотное зеркальце, и ей больше нравилось смотреться в оконное стекло. Отражение там получалось пыльным и смутным, но она отпустила волосы, они росли, она их холила и лелеяла, и порой, устроив игру теней на стене, видела там свой силуэт, все более и более похожий.

А пока длился процесс превращения, она даже от возлюбленного пряталась — это в коммунальной квартире! — и если встречала — отворачивалась и мысленно молила: "не смотри! я еще не готова!"

И день настал — день и ночь, когда преобразование должно было завершиться. Счастливый случай /впрочем, она о том очень позаботилась/ свел их в одной компании встречать Новый год. И она опять рассказала, как старательно мылась и причесывалась, и наряжалась, и внезапно оглядев молодого человека, велела: "Оденься!"

Но одеться было не во что. Тут-то путешественник выступил вперед и предложил рубашку. Получилось очень плохо, рубашка карлика треснула на широких плечах дюрерова Адама, галстук-бабочка сдавил шею. Но все это ей ни о чем, она его целует и ласкает, они одни, напряжение растет, сейчас пробьет полночь, кульминация!

И что же?

А ничего.

Он хотя и возбужден был праздником, и музыкой, и танцами, и выпил немало, и сидел за столом опершись на руку, склонив свою хмельную голову, когда она подошла и с милым реверансом предложила ему бокал шампанского, а едва он протянул руку,

отдернула свою — тут уж пришлось ему поднять на нее свой пьяный взор, свой римско-греческий нос! — и она побежала от него, а он за нею, — но когда дошло до дела, он сопротивлялся отчаянно. Он стоял прямой как палка, мускулы свело судорогой и лицо налилось кровью, белая рубашка потемнела от пота, потом он весь задрожал и вдруг упал на пол с грохотом. Она же простерла над ним руку и сказала торжественно:

— Вот так он убил мою душу.

— Я думаю, — скромно добавил путешественник, — что она выразилась довольно точно, — о душе, правда, тут же она очень нехорошо выругалась, но ведь душу свою она ему действительно преподнесла и в некотором смысле положила к ногам. Душе, конечно, что сделается, она бессмертная, безразмерная, непромокаемая, душе что и бывает — она безущербная. другое дело тело: кровь, нервы, мускулы, костяк, и хотя сам он телом сейчас лежал как мертвый, хуже мертвого, на самом деле это он убил ее тело, а без тела куда деваться душе? Убили тело: где душе жить? Ей форма, форма нужна! Хотя с другой стороны душа — форма тела...

— Она, — продолжал путешественник, — опустилась на колени и начала приводить его в чувство, монотонно приговаривая: "Отец Онуфрий... озирая окрестную область, обнаружил... обнаженную Ольгу... обморок с ним, обморок!" — и трудилась, работала: сдернула галстук-бабочку, рванула ворот рубашки, а так как язык у него запал в горло и не давал дышать, она, обернув руку своим платком, сунула пальцы ему в рот и... кажется, это называется тракцией языка?..

И т.д. Молодой человек порозовел, начал дышать ровнее. Он приподнялся и сел. Путешественнику, застывшему от ужаса, бросили его платок и рубашку. И он удалился на цыпочках и пешком с 16-го этажа, не смея вызвать лифт.

— И знаете, — добавил он, будто что-то вспомнив, — была во всем этом одна странность. Его поведение с самого начала казалось каким-то заученным, автоматическим. Как будто то, что он делал, он проделывал уже не в первый раз.

— Возможно, так оно и было, — отвечал я, — т.е. в вооб-

ражении он без конца повторял эту ужасную сцену... раскаиваясь. Если только он виноват.

- Подумайте, он даже не удивился, когда она вошла, будто и раньше ее там видел, и все действия его были как бы привычные.

- Предположим, что если он долго терзал себя этими воспоминаниями, то попросту не понял, что на сей случай партнерша оказалась осязаемой, во плоти и крови.

- Уверяю вас, он не так прост - т.е. она, душа, - чтоб не заметить: слишком велика разница. Да если б и так, неужели душа - дух! - уступает в проникательности нам, отягченным костями и мясом? Нет, как хотите, это неправдоподобно.

- Но ведь там были вы, наблюдатель, - сказал я, - неужели вы думаете, что ваше присутствие /о котором они знали/, вся сложнейшая гамма ваших чувств, от страха до бессознательной ревности, никак не воздействовала...

- Как?! - воскликнул он, и глаза его сделались круглыми, как круги Джотто. - Вы хотите сказать, что они эту сцену специально для меня разыграли?

- Нет, но вы же знаете, что сам факт присутствия сознающего наблюдателя и его оценка есть мощный фактор, изменяющий наблюдаемый феномен.

- Вы хотите сказать, что я видел не то, что было, а то, что я видеть хотел?

- Да нет же. Но быть может, они из-за вас - ради вас удержались в тех пределах, за какие вы не хотели бы чтоб они вышли.

- Вот как... вы полагаете... нет, это было бы слишком лестно. Впрочем, Ольга /на самом деле ее зовут не так, но будем осторожны с именами/... она все твердила, что была "не такая", - бедная девочка, она быть может думала о нынешнем своем несоответствии ~~иници~~ избранной модели?

Я спросил, какая картина висела у нее на стене.

- Знаменитая и ультрасуперэстрапрекрасная, - отвечал он с видимой неохотой, - но из тех, знаете ли, общепотребительных, что уже на грани пошлости, вроде Эйфелевой башни.

Или Моны Лизы... с усами. Но ему, молодому человеку, повезло: очень и очень возможно, что она повесила бы "Неизвестную" Крамского: каково бы ему это было?

Словом, это была Сикстинская Мадонна. Меж тем Ольга /оставим ей этот псевдоним/ при первой встрече имела вид вульгарный, жесты разухабистые, этакая деваха, да еще с блатным лексиконом. Он вспомнил песенку, которую она распевала под аккомпанимент ножа и вилки: "Бандиты юную красотку..." — они в нее стреляют, бросают под машину и всячески стараются ее извести, но "наутро она уж улыбалась в окошке своем, как всегда, и рука ее нежно изгибалась, и из лейки ее текла вода" и т.д., всех слов путешественник не помнил. Он толковал песенку символически: душа-де молодой женщины осталась неповрежденной, immaculatной, хотя возлюбленный, опять-таки в переносном смысле, убил ее тело, доведенное до 60-70% прелести мадонны Рафаэля. Однако пела она в ритме наиболее крайних, дьявольских образцов рока.

— Пойдите, — вдруг спохватился я, — но ведь Ольга находится здесь, в этом — I-м мире. Как же она нашла дорогу во 2-ой?

— Скорее, в 3-ий, это же все-таки не столоверчение или летающие тарелки. Ад, знаете ли, Чистилище...

— Да-да, так как же?

— Ну как вам сказать... возможно, догадалась... Женская интуиция... Разумеется, он сам привел ее туда.

#### 4

Дело в том, что наш путешественник все еще жил в своей коммунальной квартире, словно пленник. Сборы в дорогу несколько замедлились, случились какие-то помехи, и с утра до вечера он занимался тем, что устранял их быстро и успешно. Лишь ночевать он возвращался домой, но все же не мог вовсе избежать встреч и разговоров с соседками. Тогда и появилось в квартире новое лицо.

Его тотчас предупредили: пусть будет осторожен. Правда,

одной из старушек молодая женщина приходилась внучкой, которую не гнать же на улицу, во всяком случае в северной стране, где зимой бродяжку занесет снегом, но поведения она сомнительного. Неделями дома не ночует, путается неизвестно с кем. И пьет. И курит. И... но нет, уж это нет, она здорова: как можно — общая ванна, уборная, даже родная бабушка не рискнула бы: не спиртом же посуду после нее мыть.

Всё это путешественнику вроде бы и не к чему, но вот в ~~вечер~~ один прекрасный вечер она является к нему сама! И начинает выспрашивать о пропавшем: раз он поселился в его комнате, так ему что-нибудь известно. Женская логика! Она даже принесла с собой бутылку для отверзания его уст и положения его риз, но больше пила и говорила сама. Увы, бедняжка сквернословила — и путешественник почувствовал странную растроганность. Когда же она сказала: "я его и под землей найду!" — у него вырвалось: "зачем же под землей, может быть и не так далеко..."

Тут он немедленно прикусил свой предательский язык. Но с той минуты у них началась опасная игра: наводящие вопросы, инсказания — холодно, теплее, жарче, совсем горячо — ясно, что подобные намеки до добра не доводят.

Он был очень занят, но устроил для нее званый вечер. Принес пирожные и сладкое вино, а чайник, чашки и крошечные рюмочки одолжил у соседней, матери своего предшественника. Он встретил гостью в дверях, предложил ей руку и торжественно повел к столу, Ольга сразу опознала чайную посуду вдовы и спела песенку про красотку, которой все нипочем. В последнем куплете бандиты бросают ее в море-океан,

И острый киль подводной лодки,

подлодки

Красотку режет пополам, пополам.

Куски те слопал морской гад,

морской гад,

И тут же выплюнул назад:

а-а тьфу!

А наутро она уж улыбалась,  
улыбалась  
В окошке своем, как всегда,  
как всегда.  
И рука ее нежно изгибалась,  
изгибалась,  
И из лейки ее текла вода.  
Вот это да!

И Ольга аккомпанировала себе звеня рюмочкой о чашку, впрочем, разбить ничего не решилась. Да, эту даму она не любила.

— Почему? — спросил я.

— Как же, — удивился путешественник, — некоторым образом, свекровь...

За столом он служил ей как королеве, но Ольга вертелась на стуле, смотрела на пол, обводила взглядом потолок и стены. "Дорогая, — говорил путешественник, — мы можем, мы можем населить эти апартаменты созданиями нашей фантазии! Чем здесь не зал для бала — а значит будет бал для зала. Паркет натерт до блеска, огни сияют, входят двое во фраках: ах, дипломаты! И дужовные лица в мантиях и красных шляпах: ах, кардиналы! Зал для ритуала! И четыре воздушных создания: ах, кинозвезды! — они скользят по паркету и бросаются мне на шею — зал для карнавала, но среди шумной толпы сверкающих призраков я ищу лишь вас одну — принцессу из плоти и крови...

Так он говорил, а Ольга его прервала:

— Палочка, раз-два-три-четыре-пять, мы пойдем его искать?

И он повел ее на прогулку, на улицу, куда угодно, лишь бы прочь из этой комнаты, где она чуть не под кровать заглядывала: не прячется ли там ее пропавший возлюбленный. Кончался июль, начинался август, но жара не спадала даже вечером; пройдя несколько шагов, они укрылись в тени Летнего сада.

— Посмотрите, вы только посмотрите на эту решетку, — говорил он, — чугунное кружево и кружевной чугуун, а я был бы счастлив подарить вам шаль венецианского кружева. Вид отсюда великолепен: синее небо, синяя река, мосты, дворцы и храмы, сквозь знаменитую решетку мы видим как бы Венецию, Флоренцию,

возможно даже Рим. Поистине 3-ий Рим, а 4-му не быть! Если верно, что все пути ведут в Рим, по крайней мере через Вену, то последнее, что останется на земле, и будет Римом. Вообразите, например, некую вселенскую катастрофу, и после нее уцелел один ломтик, один обломок — тот, который мы сейчас видим, повернувшись к крепости, — и этот кусочек, носясь в космосе как летающая тарелка, достойно распрезентовал бы весь погибший мир. Ах, да, еще чтобы пушка палила ровно в полдень!

Разгорячась, он жестикулировал, вертел головой, привставал на цыпочки. И когда поднимал руку, кончики пальцев оказывались как раз на уровне ее волос. Он был смешон, и не бродить бы этой паре на виду, но Ольга весьма жестоко тащила его по аллеям и разглядывала всех сидящих на скамейках.

Зачем он соглашался? Хотел ее отвлечь? Или, так сказать, направить на путь истинный: ведь чем грубей и вульгарней она себя держала, тем изысканней он, бедный карлик, разыгрывал рыцаря. Зачем? — Бог весть. Что такое вообще "зачем"? Любой ответ неминуемо останется в области полудогадок и предположений.

Ему, например, нравились летающие тарелки. Уж не потому ли, что там среди маленьких зелененьких человечков он воображал себя большим и красивым? Или мечтал об универсальном транспортном средстве? Он охотно верил в чудеса: что летающая тарелка, что Рим, но Рим — никак не столица христианского мира, и еще того менее конкретный центр конкретной европейской державы со своими проблемами — политическими, впрочем, возведенными уже в степень экзистенциальную, например, неразрешимым дуализмом красного и белого с небольшой примесью черного и зеленого, словом — блокированной демократией, т.е. невозможностью для правительства превратиться в оппозицию и наоборот. Ничего этого, но Рим — 2-ой транзитный город /откуда он не знал бы, куда отправиться дальше/, Рим — универсальная летающая тарелка, возможно целый остров Лапута, который величаво парит над всеми границами: не только теми, что нарисованы на карте, но и символическими, отделяющими мир иной от нашего, и 3-ий от 2-го, и т.д. Скорей всего Рим для него был условный термин, имя нарицательное /рим — как кесарь/, означающее тотальную

унификацию. Все в равных возможностях — люди обычного роста и маленькие зелененькие человечки, духи воздуха, огня и воды, растения и минералы, души осужденные и страждущие, все свободно снуют во всех направлениях и заключают брачные союзы. И это не хаос, а напротив наилучший порядок, потому что закон для всех один, и единые налоги и тарифы, а также гражданство. Земля и небо, летающие тарелки, Ад и Чистилище — I-ый, 2-ой и 3-ий мир путем дифференцирующей интеграции образуют некий 4-ый, в котором наконец можно жить.

Чья голова, верней — чье лицо отвернется от надежно работающего, спокойно вращающегося социально-политического перпетуума мобиле? В чьем сердце не расцветут все цветы под солнцем Великой Гарантии?

А так как не следует без необходимости вводить новые идеи или термины, возьмем Рим как нечто привычное и вечное. Рим есть универсальная идея, т.е. мир навыворот.

Рай же из осторожности вынесем за скобки.

5

— Я был смешен, — признался путешественник, — навязываясь ей в спутники. Но иначе она ушла бы на поиски одна, а разве я мог это допустить? Ольга, быть может, святая, одержимая дьяволом, которого надо изгнать, или заколдованная принцесса — знаете, из той сказки, где вместо роз плюются жабами, ведь она изрыгала такие ужасные ругательства. Я надеялся, что, может быть, моя добровольная смехотворность, мое даже юродство ее смягчит, что как-нибудь случайно хлынет наконец добро и милосердие в ее душу — сперва, разумеется, в Бога душу мать, но не все же сразу. И это случилось — если не на пляже у Крепости, то...

— Как, — прервал я, — вы, в вашем возрасте, загорали у Крепости? Впрочем, простите, отчего бы и нет.

Но это Ольга повела его за собой. И была так безжалостна, что заставила раздеться, выставить напоказ немощное тельце и ручки-ножки без мускулов. Впрочем, она была ~~шривн~~ права, нелепо

и подозрительно бродить среди голых одетому, а он все-таки был молодец: ни горба, например, ни живота.

Голые тела лежали так тесно одно к другому, что некуда ступить — почти буквально некуда поставить ногу. Кто на подстилке, кто прямо на песке, они лежали неподвижно, казалось, мучительная смерть их настигла и исказила лица — но нет, они дышали, животы тихонько поднимались и опускались. Между двух тел валялся резиновый крокодил. Женщина, вся красная, будто ободранная, приподнялась на локтях и стонала, запрокинув голову. На низком деревянном волнорезе повис мужчина головой вниз, в воду. А рядом ели, разложив на одеяле помидоры и куски мяса: вокруг вились и жужжали черные мухи, но едоки так обессилели от зноя, что не отмахивались. А там, под деревьями, ближе к крепостной стене, пятеро юношей играли в мяч. Они прыгали легко, их ноги были сильны, а руки — ловки — казалось, они одни чисты среди этой чудовищной груды тел, изуродованных первородным грехом. Но если и так, то они, наверно, ангелы, потому что равнодушно играют в мяч и не летят на помощь людям.

И ревели транзисторы, а вода была мутная и теплая как суп.

Ольга ходила, наклоняясь над лежащими и вглядываясь в лица. Один лежал ничком, и она остановилась и ждала, пока он перевернется на спину. Но тот не шевелился, и кто-то рядом сказал: "вредно спать на солнце!" Тогда Ольга принялась его переворачивать, путешественник помогал ей. Он знал, что того, кого она ищет, нет здесь, и все же почувствовал облегчение, увидав незнакомое лицо.

Весь день они шли через огромный пляж, увязая в песке, вокруг лежали голые туши, жир, перерезанный бретельками и резинками, и путешественник ощущал вместе голод и тошноту.

Он терзался, видя ее упорство. Он поехал с ней на окраину в большой тенистый парк, почти лес, а начинался тот лес за чертой города — словом, повез ее туда, где прежде жил, а значит в игре "холодно — тепло — жарко" сделалось уже так жарко, что обжигало. Он уступал, сдавался. Они хотели прохлады и сели прямо на траву, Ольга оборвала травинку, другую, а потом ей ей попался стебель с длинным упрямым корнем. Она тянула, дер-

гала, и чтобы ухватить поглубже, вырыла ямку ногтями. Корень не поддавался, она уперлась ногами, рванула — "с таким ожесточением, — рассказывал он, — будто сейчас мир перевернет. И знаете, почти так и получилось: она разворотила громадное сплетение корней, в воздух полетела земля и камни, и ~~что~~ там только не было — ужи, ежи, черви и прошлогодние листья. И я потом долго выбирал комки земли из ее волос а ля Сикстинская Мадонна. И она — она тоже! — вывернула мои карманы, куда насыпалось немало, и за воротом, и в конце концов заставила меня снять рубашку..."

— А потом сказала: "его здесь нет"?

— Нет, в тот раз не сказала ничего, но вы понимаете, что после этого я не мог ей не открыться...

6

Они встретились, как описано выше, и с тех пор путешествовали втроем: дух, женщина и полукарлик. И надо сказать, что им повезло, потому что время проливных дождей с 21 августа по 11 сентября они провели в укрытии, точнее — под землей. Возможно, наш путешественник опять что-то напутал — а располагая единственно его свидетельством, я таковое и вынужден принимать на веру, как ни мало оно правдоподобно. Он описал нечто вроде недостроенного участка метро; как строят метро, я не знаю, а потому готов допустить все, что угодно. Например, эскалатор необычайной длины работал только на спуск, а поезда ходили очень редко, может быть, тут начинались ремонтные работы, во всяком случае на всем пространстве были возведены железные леса с настилами, перекрытиями, которые тряслись и грохотали под ногами. Они взбирались по лестницам, проходили по узким мостикам, висящим в пустоте, — но это очень опасно? Нет, мосты были все-таки ограждены перилами, а по лестницам они лазили как обезьяны, цепляясь руками за перекладины. Принято считать, что мы идем только вперед, т.е. в будущее, и к нему обращены лицом, а спиной к прошлому: поэтому в правильном положении они на-

ходились, когда лезли вверх, а спускались противоестественно, задом наперед.

Железные лестницы, чугунные мосты и перила он различал наощупь, потому что лестницы были мокрые, ледяные и ржавые, а перила только ледяные и мокрые, и он то и дело вытирал руки о брюки, но не обе сразу, а поочередно, чтобы одной рукой держаться. Холод, сырость, мертвый, застойный воздух. И адский грохот и сотрясение при каждом шаге. И темнота. С лестницы на гулкий дрожащий настил, с моста на новую лестницу и опять на мост — он очень скоро потерял и направление движения и счет времени. Он, правда, различал стрелки на своих ручных часах, но сбился, считая сутки.

Стрелки на часах? Значит, там был не совсем уж черный мрак?

Нет, был слабый свет свечи, которую в правой руке нес молодой человек. Он шел впереди, за ним Ольга, и последним маленький путешественник. Молодой человек был по-прежнему голый, впрочем, все-таки в джинсах с надписью на задку "Ки Ми ама — Ми сегуа". Но каково было его босым ногам ступать по холодному и мокрому металлу!

Но он молод, и Ольга тоже, она так ловко карабкалась. А путешественнику пришлось худо как ни разу в жизни. Он измучился до безумия, дошел до предела в этом грохочащем Аду. Он свел влюбленную пару, исполнил, так сказать, свой долг /если это его долг/ — и теперь не довольно ли с него?

И что его особенно пугало — это то, что Душа Чистилища, идущая впереди, идет как-то неуверенно, останавливается, колеблется в выборе на развилках...

— Что удивительного, — заметил я, — ведь тоже и он там был впервые, в том другом мире, и откуда ему знать наперед?

— Но я-то думал — он знает! Бесплотный дух: где же преимущество мертвых перед живыми, если он даже дороги не может найти?

— А может быть это была не настоящая смерть, а только так, метафора?

- Но лестницы, и мосты, и гул, и грохот - это-то всё было настоящее. И он все-таки шёл - значит где-то был выход, и он надеялся выбраться!

- И вы его спросили?...

- Я спросил: сколько ещё осталось?

- Не знаю, - ответил полуголый дух.

- Но нельзя же вечно идти наугад! Я готов идти ~~или~~ пойду, но мне надо знать, где конец: за тем поворотом? за этим?

Тогда спутник объяснил мне, что конец пути будет там, где путь окончится. Эту возмутительную тавтологию он оправдал структурной необходимостью данного пространственно-временного континуума, т.е. подземелья, которому имманентны также холод, сырость и грохот. Дорога через него идет в одном направлении - от начала к концу, от единственного входа к единственному выходу.

- Что за вздор! - закричал путешественник, - я сию же минуту поворачиваю обратно!

- Куда ж ты пойдешь, папочка, - сказала Ольга не поднимая головы, - наверху такой ливень.

Они остановились, когда путешественник взбунтовался, и стояли пока длилось объяснение. Ольга села на холодную перекладину у ног духа, и в слабом свете свечи бедный путешественник увидел, как она ладонями греет его босые ступни - сначала правую, потом левую. Надо бы растереть шерстяной варежкой, подумал он машинально. В эту минуту он пережил все муки Ада.

- И главное, - добавил он, - мои дела там наверху застыли на мертвой точке. Однако ж я понимал, что она пойдет за этой душой, кто б он ни был, а я разве мог ее оставить в такой сомнительной компании?

- Вы сказали "Ад", - заметил я, - прикажете понимать буквально?

- Как же, адский грохот, и холод, и мокрое ржавое железо, и...

- Ну, это только уподобление "как в Аду", ощущение, к тому ж весьма субъективное, ваши молодые спутники, например,

не так страдали. Я разумею нечто общечеловеческое, исторически-общекультурное, словом, — традицию, которая Ад определяет по совокупности признаков и примет. Эти знакомые, привычные, общеизвестные параметры вы опознали и сейчас же рефлекторно назвали соответствующим термином.

— Да нет, не могу сказать, чтобы было совпадение с какими-либо знаменитыми литературными моделями, — ответил он подумав. — Но ведь описания всегда уклончивы, они чаще скрывают, нежели проясняют. Иносказания... Вы разве сумели бы описать Ад?

— Мрачное подземелье... — начал я насмешливо.

— Мрачное подземелье, тяжелые каменные своды, полуциркульные арки, чугунные лестницы, поднимающиеся под углом, мосты-переходы, висящие в пустоте, а на потолке подъемные блоки с веревками, и еще веревки колоколов, и непременно цепи на столбах, тяжкие ржавые цепи — как они гремят, когда задешь свисающий конец! Мрачное подземелье замка графа ди Луна — впрочем, полуподземелье, потому что все-таки слабый свет падает из готического окна на заднем плане, и на каменном полу сидят Манрико и Азучена, и Манрико, в конце концов, действительно сжигают на настоящем оперном костре — разумеется, за сценой — и в готическом окне видно зловещее багровое зарево. И в "Турандот" тоже в каком-нибудь мрачном подземелье истязают бедную Лю, а принц Калаф на рассвете поет арию с верховным си — о да, действие происходит в Китае, но музыка — то вполне итальянская, так что декоратор не ошибется, возведя на сцене такую же темницу а ля Пиранези. Оперный декоратор, конечно, не Пиранези, но вы говорили о традиции...

— Мы говорили о модели, — сказал я.

— Но модель можно упростить, обойтись без громоздкости реквизита, например, модель полумодерн: мрачная тюремная камера — обычная комната, на столе горит свеча, Марио Каварадосси в белой рубашке, расстегнутой на груди, ждет казни, колокола звонят в замке Сант-Анджело: "Горели звезды — и никогда я так не жаждал жизни". Тоске обещано, что его расстреляют символически, в переносном смысле, т.е. холостыми патронами, так сказать, театр в театре — но как известно, его расстреляли бук-

важно и прямо на сцене. И в программке, купленной у билетерши, вы читаете: "Каварадосси мертв, Tosca в отчаянии бросается со скалы. Любовь торжествует". Оперные программки — это целый мир не хуже того, что великий абсурдист нашел в английском разговорнике. Иносказания, эзопов язык...

— И все же вы ясно и недвусмысленно сказали "Ад", — настаивал я, — вам там кто-то сказал, что это именно Ад?

— Никто не говорил, — ответил он, — для меня это был Ад в значении предельности терзаний, пресловутое "не могу больше", которое никогда не подтверждается, потому что мы можем и продолжаем мочь до последнего мгновения, и не верим, что приговор окончательный.

— Так это был не Ад?

— Нет, разумеется.

— Тогда как вы узнали, почему решили, что это не Ад, а что-то другое?

— Но я же оттуда выбрался, — ответил он.

Выход, однако, был еще далеко от того места, где мы прервали наш рассказ. Путешественник раз триста, быть может, повторил свое "не могу больше": идя вверх, он задыхался и твердил "скорей бы спуск", а когда на спуске ноги у него подгибались — "скорей бы подъем", думал он.

И вдруг он ощутил под ногами ровную поверхность, и вспыхнул ослепительный свет. Он прикрыл рукой глаза, а когда резв утихла, увидал длинный коридор, освещенный мощными белыми лампами, а справа шел нескончаемый ряд стальных дверей. Как ни редко бывал он в кино, а все же сразу узнал традиционный интерьер — и с облегчением сел, нет, плюхнулся на пол. Наконец! Дальше идти не надо, некуда: какое счастье! В голове у него мутилось, он воображал, как хорошо отдохнет там, за одной из этих дверей. Скорее лечь. Нет, сперва умыться. Нет, еще раньше — ох, это прежде всего, и как только он терпел так долго. А потом спать. Может, дадут попить чего-нибудь горячего. Он заснет, а завтра подумает, как быть дальше. И непременно на-

до делать в камере по утрам гимнастику. И если разрешается - прогулки: наверно, дождь наверху кончился?

Он и правда впал в сон минуты на три-четыре. Лязгнули стальные двери, и когда он открыл глаза, коридор был полон народу. Но нигде он не видел Ольги - и, вскочив, бросился в толпу. Он вставал на цыпочки, вытягивал шею, крутил головой, изворачивался и сновал среди людей, и наконец, завопил, вздев руки: "Пропала, исчезла, потеряна!"

"Так пойдя же поищи", произнес кто-то сзади. Ему завязали глаза, трижды повернули кругом, он расставил руки и шагнул наугад. При каждом движении поднимался звон и гул, а со всех сторон кричали: "Горячо! жарко! холодно!" Его крутили и толкали и давали тумака, как мяч бросали от одного к другому, и все это в головокружительном темпе, как в полуфинале "Цырюльника", а он был, конечно, дон Базилио, которого морочат и дурачат и выпроваживают: "Буона сера, буона сера!"

Нет надобности продолжать. Он не нашел Ольгу, хотя пробежал из конца в конец весь огромный коридор. Чья-то рука сорвала с глаз его повязку, чье-то колено дало ему пинка, и дверь у него за спиной захлопнулась.

Он огляделся: никого. Тишина. Ни лесов, ни лестниц: пустое пространство. И под ногами не железо, не чугун, не камень, а земля. Он пожал плечами и побрел неведомо куда. Ему было холодно.

Он увидел мужчину в джинсах и свитере и облезлой меховой ушанке. Мужчина еще не старый, даже относительно молодой, хотя бы потому, что его работа требовала некоторой физической силы. Он долбил землю ломом. Удрученный путешественник присел неподалеку от него на землю.

- Что, надоело бегать? - спросил тот.
- Да вот устал немного...
- Все бегают, бегают, - сказал этот странный земледелец, - а иные еще топают, топают: согреться хотят. Это разве метод?
- Тут и правда... прохладно.
- Это от земли. Тут же вечная мерзлота.

Путешественник поспешно вскочил. Радикулит, ишиас - всякая

болезнь угрожала его целям.

- Набегаются - сообразят, - продолжал мужчина с ломом, -  
впрочем, безнадежный народ, никогда не жил исторической жизни. Вот эту всю толщу надо продолбить, прорыть, докопаться -  
арбайт махт свободными, инструмента в конце концов хватает!  
/Возле него кучей были навалены кирки, ломы, лопаты/. - А  
они топают.

- А вы работаете?

- Ну, я умом дошел. Верней - внушением. Сперва негативным - знаете, внушение при помощи гнушения, а потом уж позитивным, предвкушая результат. А то говорят: как-де работать без ноу хау? - и лупят в стенку головой. Т.е. я патриот, конечно, но само отечество надо понимать глобально и всемирно-исторически, по принципу внешнего дополнения. Европа, Америка...

- Азия, Африка...

- Вот именно. А то сочиняют отечественный вариант негритуа: назад к национальным архетипам, статус кво анте.

- Ну, так далеко не стоит забираться, - заметил путешественник.

- Или еще утешаются: усматривают параллели, аналогии. Не только-де у нас, а и везде так. Конечно, аналогии, если не очень строго смотреть, найдутся. Только не очень строго - а то отыщешь аналогию, а она над тобой хохочет как гиена. Эти параллели принудительные: если кошке под хвостом горчицей смазать, она слизнет. Воленс ноленс, только б не быть вон изгнанну из истории!

- Ну уж так уж вон... ну и совсем уж вон...

Собеседник нахмурился и покраснел.

- Я, знаете, ли, и сам, - сказал он отворачиваясь, - конечно, про себя и себе не признаваясь, "Скифов" наизусть выучил. И совсем уж втайне от себя, так что даже как бы уже и не в себе твердил "Клеветникам России"...

- Понимаю, понимаю, - успокоил его путешественник, - вы славянофил и сейчас же западник, и сразу опять славянофил. Очень просто.

- Я социалист, - сказал мужчина с ломом, - неисправимый социалист, еврокоммунист, если угодно. Вот и оказался здесь - но здесь, заметьте, а все-таки не там.

- Не там?

- Там - это в Аду.

- Так это не Ад еще?

- Да как видите, терпимо. Ну, тяжело, земляные работы, но никуда не денешься: надо. Я тут встретил недавно... остановился, знаете, передохнуть, лоб рукавом утираю, вдруг вижу: знакомое лицо! Господи, да не может же быть! Он или не он? Ведь если и его сюда - если уже до Рима дошло - значит... И вспоминаю, что год как раз тот самый, 84-ый... "Ун моменто, - говорю, - это действительно вы?" А он стоит такой застенчивый, сразу видно - новичок, и очень ему здесь не по себе с непривычки. Сердце мне, верите ли, так и пронзило, ведь мы его любили, мы в него верили, тексты добывали, переводили, из рук в руки передовали, по нашему счету он очка два всего до месии не добрал. Бегу обнять, вместе кламарить из профундия! Обнимаю - а руки мои насквозь, одна на другую наталкиваются, в пустоте сошлись. С третьего раза только и понял я, что он - тень. Да... Знаете, в этом месте все эмоции навыворот. Там наверху, узнай я, что он в мир, так сказать, теней перешел - я б ужасно огорчился, расстроился. А тут мне сразу весело стало: раз не живьем его сюда, значит там наверху пока все по-прежнему. Конец света, стало быть, откладывается! "Маэстро, - говорю ему, - Арлекино, Буратино, перпетуум мобиле! Там же внизу, еще глубже, папа Карло, наш основоположник, пойдём землю рыть, чтобы его освободить! Он там из-за нас, а мы из-за него, - мы думали, вы нам вместо него будете и его и нас заодно, за руку взяв, отсюда вывести сумеете, да вот не вышло. Значит, придется по-нашему - эх, ляшатеми кантаре кон ля гитара в ма-но, только не порвите серебряные струны! То-то аналогии, различия-то как раз при сходстве обнаруживаются. Скорей за дело, - говорю ему, - вот вам кирка - не та что протестантская церковь, а которая вроде как лом или лопата, вы - его заместитель, а я - ваш представитель, и каждому за другого своя норма ди

выработка по принципу взаимозаменяемости. В Рай грехи не пускают — а свои ли, чужие, не будем считаться, потому что все ведь это коза nostra, а не чья-нибудь..."

— Значит, Ад — это там, ниже? — перебил путешественник.

— Говорят — нет, потому что и оттуда можно освободить, если дорыться, докопаться. А вас куда: ниже, выше?

Путешественник не ответил.

— Послушайте, — сказал его собеседник, — вы если наших встретите — передайте... хотя, пожалуй, нет: еще подумают — анекдот.

Он взялся за лом и начал сосредоточенно бить по земле. Легкое сотресение почвы ощутил путешественник.

Он шел совсем один. Сперва он не заметил, что дорога идет под уклон, но скоро у него из-под ноги посыпались камешки, комки земли, он скользил, и не за что было уцепиться. Ах, не все ли равно? Но падать, лететь кувырком, все-таки, не хотелось. И он сел, зажмурился и поехал на зад, лишь чуть тормозя ногами, все быстрее и быстрее, все глубже и глубже, как в бездонный колодец, как Алиса, по которой он учил английский, и остановился, больно ударясь копчиком о камень.

Он сидел на широкой мраморной плите у подножия гигантской лестницы, а над ним было солнце и синее небо. Кряхтя, он поднялся; вдруг две ладони на миг прижались к его глазам, он услышал за спиной знакомый смех, обернулся и увидел тех двоих: они поднялись уже на семь ступеней и махали ему.

## 7

### Занимательная теология

Наша история была до сих пор более или менее правдива; теперь же приходится ввести материал, признаюсь, несколько сомнительный.

Я колебался. Я находил отталкивающей тему этих заметок. Религия нынче в моде, а мне все модное и популярное претит. Я, если угодно, сноб, и куда охотней занялся бы тем, от чего все шарахаются — например, политикой.

Но потом я дал тексту вышеприведенное компромиссное название и решил, что для пущей правдивости не следует брезгать ничем.

Речь пойдет о бумагах Души Чистилища /будем так ее звать вслед за путешественником, которому бумаги достались, так сказать, в наследство вместе с комнатой, столом и кроватью/. Начать с того, что записи были сделаны молоком: пустые грязно-белые листы с неприятным запахом. Как он догадался, что имеет дело с тайнописью?

Быть может, он был прежде архивистом, каталогизатором рукописей, существом, сидящим за семью дверями музеев, библиотек — словом, книжный червь или, как говорят в Италии, книжная мышь. Там, у себя в тайниках и запасниках он и был мышью — одной из тысяч; но то была особая мышь — как и всякая мышь. Он попросил у соседки утюг, и как по волшебству проступили на бумаге рыжие слова, рыжие корявые строчки, рыжие абзацы...

"Позволь рассказать Тебе, Господи, — начинает он цитатой из блаженного Августина, — но что толку в этом фамильярном "ты", если я не знаю, с кем говорю? Мое представление без конца меняется вместе со мной; возможно, один раз из тысячи я случайно попадаю в точку, но остальные 999 ложны. Ложь — моя — мне, следовательно, почти гарантирована, так не все ли равно, как лгать?

Говорить с Ним — какими словами? Языка адекватного я не знаю, так не все ли равно, как говорить?

Ничего достоверного. Ужасающая свобода.

Недостижимая цель: периметр многоугольника хочет слиться с окружностью, ветвь гиперболы тянется со страстью коснуться асимптоты.

Любая моя попытка разбивается о трансцензус, этот железный занавес, меж Ним и мной, опустившийся из-за чьего-то давнего греха. Притом, что яблоко и дерево и все прочее и т.д. и т.п. нужно понимать символически. И об это иносказание, об эту чужую вину я бьюсь головой как об стенку.

Небо — это не синее небо, а символ возвышения, отдаления.

Море — не синее море, а море бурь житейских /какого цвета?/, символ дальнего странствия. Сама идея так отдалена, что не достать. Так высока — горная вершина, лестница, скрытая в облаках /уж не в тучах ли?/, — что не увидеть. Возвышенна так, что все равно, что и нет ее.

Все это — улыбка чеширского кота.

Мне ли играть на понижение — или Он меня до Себя возвысит: возведет по лестнице, которой вершина, и т.д. — тогда хорошо буду я Ему собеседник, не умеющий слова выговорить без судороги и сарказма.

Но этого, я думаю, не будет. Я Ему не нужен.

Но Он нужен мне!

Он мне нужен не ради Него, а для меня же самого, потому что без Него я не более чем тоскующая по Нему тавтология. Без соотнесения с Ним я не могу себя определить в логических понятиях и только перемешиваю без конца смесь догадок, полуидей, четверть-суждений. Я барахтаюсь в этой каше. Это ощущение так сильно, что и физически я себе кажусь бесформенной грудой костей и мяса.

И ничем другим не буду, пока я здесь.

Я мог бы попросить у Него помощи, но мне запрещено "называть Его имя всуе". Значит, я и вовсе не назову Его имени, потому что из ста раз только один, возможно, не будет "всуе" — а в остальных 99 я как-нибудь и сам обойдусь.

Я обойдусь: бессловесно мыча, буду лупить головой в стенку, в проклятый трансцензус. 99 ударов вместо одного четко артикулированного обращения!

Не будь я здесь, я пренебрег бы запретом. Но по эту сторону стены имя Его у меня не выговаривается.

Полумысли, четверть-ощущения не в счет. Иносказания — эти недослова — не в счет. По ту сторону чувство станет мыслью, мысль плавно перейдет в слова, в прямое обращение к Нему по имени: как к ровеснику. Там не будет ни судороги, ни напряжения, ни стиснутых зубов. Я должен наконец решиться.

Я должен довериться и рискнуть.

Я должен туда добраться...

Надеюсь, последнюю фразу следует понимать все-таки в переносном смысле.

Подразумевается, что ему нужно преодолеть *we shall overcome* / бездну меж тем миром и этим, секуляризовать небо, чтобы получить результат с обратным знаком: сакрализованную землю. И ему нужен язык-посредник, язык-инструмент, некий дольче стиль нуово - впрочем, вряд ли дольче, и не знаю уж как его назвать: стиль сакро-профанный, тео-лаический?

Мне жаль его. Почему он не обратился за консультацией к профессионалу-теологу? Но таковы эти новообращенные: с порога отвергают все готовые версии. Эти самоучки ничего не изучают: не думаю, чтоб он даже Евангелие прочел хоть раз от начала до конца. Вероятно, подхватил две-три расхожие фразы и ситуации, которые надувал как воздушные шары своей фантазией. Чем меньше знаешь, тем легче выдумывать. Возможно, он вовсе не открывал Евангелие и его даже у него не было. Говорят - кулер локаль: не достать, не знают где достать. Так надо знать! На севере через финскую, что ли, границу пускают воздушные шары с привязанным Священным Писанием: езжай, лови!

Наверно, ему помогла бы исповедь. Не многотомная "Исповедь" в духе Августина, Руссо или Толстого, для этого все-таки надо быть литератором, - и не в стиле русс, многочасовым выворачивании себя наизнанку с откровенностями без откровения, - но в узкоспециальном смысле, как исповедуются в церкви священнику. Такая исповедь в своей прекрасной целесообразности должна быть предельно краткой: у вас за спиной очередь. Она должна быть предельно точной: в две-три минуты создается, так сказать, словесный автопортрет, удостоверение личности с фотокарточкой 3/4, рентгеновский снимок души. Евангельский мытарь определил себя всего одним словом: быть может, это и была самая удачная попытка.

Допускаю, ему было нелегко. Где, например, он нашел бы тот кафедральный собор, который в любом большом городе мира открыт круглые сутки, и дежурный священник во всякое время дня и ночи готов его выслушать? Вот именно ночью, когда в соборе пусто, и можно не торопясь извлекать из себя слово за

словом.

Да что собор, где тот телефон, по которому в любое время дня и ночи вы звоните — и вас отговаривают от самоубийства!

Предположим, он входил в какую-нибудь церковь /дрожа и робея/ — и очень возможно, даже вероятно, что прихожане его чуждались и как бы отстраняли: кулер локаль. Ведь и ранние христиане в римских катакомбах уж наверно не без некоторого недоверия, не без опаски встречали неофитов. Наверно, требовалось какое-то слово-отмычка, пароль — а он его не знал. Так надо было знать!

Нет, нечего винить кулер локаль. Он просто не желал подчиниться существующему порядку. Он не пошел бы к дежурному священнику даже в круглосуточном случае /как не стал бы звонить по тому спасательному телефону/. Не будучи ни православным, ни католиком, он не владел вышеописанной техникой исповеди, а когда попытался, подобно протестанту, обращаться к Нему напрямую, без посредников, — оказалось, что он не умеет с Ним говорить. И он сам изобрел свои нормы поведения — не католические, не православные и не протестантские, а по своему вкусу.

Он, например, скверно обошелся с Ольгой, как будто ему и впрямь предложили переспать с Сикстинской мадонной: и хочется и колется. Его соблазняют алой розой — а ему надо белую, которая уже скорее лилия, символ непорочности, и без шипов. Возможно, суровая черная византийская Богородица у него не пробудила бы кощунственных желаний, — но тут он спасся лишь ценою обморока и новых обмороков, обмороков без конца, хотя проще было бы себя оскотить, как Ориген. Бедная Ольга!

Бедные дети, они оба играли всерьез: она — фигуру с картины Рафаэля, мадонну, т.е. 2-ю Еву, он же — анти-Адама, Адама, уклонившегося от грехопадения. Я этого не одобряю. Я человек старый, грубый и нахожу грех естественным и здоровым, и славлю во имя логики падение 1-го Адама, которое Августин назвал феликсной кульпой — счастливой виной, потому что несравненный 2ой Адам пришел искупить грех 1-го. Зачем же закрывать перед ним дверь — я, мол, и сам обойдусь?

Впрочем, кое в чем ему все же повезло, и пожалуй даже в

главном. У самоучек бывают промахи: обращаются к Отцу — минуя Сына, или к Духу Святому — минуя Сына. Выставляют, так сказать, крест за дверь, выносят, так сказать, на чердак. Он же — несомненно интуитивно, хотя и не признавал ничего кроме дискурсивного изложения — попал в точку, в Сына-ровесника. Оно и понятно, для молодого отец всегда старик, и в качестве такового глух, слеп и непрошибаем, и уж конечно говорит с ним не о чем.

Но логически его Ровесник обречен был вместе с ним стариться? Или и такому мастодонту, как я, прикажете иметь дело с 33-летним молодым человеком?

Вздор, разумеется. Он и не помышлял о старости — и о времени вообще.. Для него не было прошедшего, настоящего и будущего — или, что то же, были все три в одном, как все четыре времени года сразу. Не время его заботило, а пространство, которое надо преодолеть. Пространство — точнее говоря, расстояние, поскольку оно разделяло его с Ровесником, — он избрал как предмет и орудие искупления. *Redeem the Time*, написано у Элиота, и это несомненно правильней; но опять-таки не то и другое порознь, а оба вместе. Эта ошибка была кое-как исправлена, но об этом позже, пока же замечу, что он мог бы основать секту — обладай он даром убеждения или властью принуждения. А лишенный того и другого, он от людей удалился, чтобы свершить дело искупления в одиночку.

Итак, он 3-ий Адам и в нем одном 4-ый Рим от кончика носа до кончика хвоста. А уж 5-го никогда не будет. И ему придется умереть — в переносном смысле — для этого мира, где ни одно живое существо... ни одно живое? Ну так он отправится к мертвым, или — деликатней — к неживым, полуживым, четверть-живым, тем более что известно, что точно различить тех и этих невозможно.

Поистине, кто жив, кто мертв? — В прямом и переносном смысле многие умерли, но сами того не знают, и наоборот: последних еще больше. Потому что лучшее средство консервации не тот раствор, в котором египтяне вымачивали мумии, а густое дерьмо, которое отшибает обоняние и само дыхание / приспособляются дышать помаленьку, чтоб меньше втягивать/: кислород, следова-

тельно, почти не поступает, и процесс окисления и сгорания тормозится, если не останавливается вовсе.

Ах, он слишком далеко перенес свой переносный смысл — и запутался, а пора бы уж в его-то возрасте выйти на дорогу, двигаться, так сказать, по рельсам...

В шш его возрасте? О ком речь? Молодой человек...

Да ведь так жить, как он, — год за два, за три идет. Как жить иносказаниями? То ли дело полунощная исповедь, и кафедральный собор, и телефон для самоубийц — все, что есть в любом большом городе мира. Впрочем, он как раз и хотел, и все еще хочет...

Кто? "Занимательную теологию" сочинял молодой человек, а путешествовать хочет путешественник?

Нет, я не путаю одного с другим. И не зря я сразу назвал вышеприведенный текст сомнительным: ибо кто его автор?

Услышав от путешественника, что Душа Чистилища оставила записки, я немедленно захотел их увидеть.

— Эти бумаги у вас? — спросил я.

— Да, но... видите ли, это были какие-то клочки, обрывки — не только бумаги, но и мыслей, заметки без связи и часто без смысла. Мне пришлось раскладывать по порядку листки, нумеровать страницы, выявлять смысл — буквально, начиная с утюга!

— Где же они? — перебил я.

— Но там, вы знаете, многое было непонятно: он перескакивал с религии на политику, потом на летние каникулы на пляже у реки, а далее, как можно догадаться, что-то вроде стихов — и ни разу двух-трех фраз подряд о чем-нибудь одном. Конечно, свободные ассоциации... но уж слишком свободные! А прочерки, а сокращения! А уж сам почерк... Я старался угадывать, доискивался по смыслу — но смысл-то и был тем, до чего надо было доискаться. И тогда я, понимаете, поневоле...

— Вы хотите сказать, что приносили смысл от себя?

— Но должен же быть какой-то смысл! Да, если угодно, я развивал, дополнял, обставлял недостающими глаголами, определениями и деепричастными оборотами и доводил до точки. Стихи

я выстраивал в столбик, а что не годилось — в строчку. Конечно, я делал это очень осторожно — а он сам не стал бы возиться, он не рассчитывал на читателя! Или... он писал для себя, но... Безумная идея, но с него станется: быть может, он адресовался туда... ну, вы понимаете — туда, где все поймут с полуслова, с четверть-намёка, потому что там знают все, что я о себе знаю, и сверх того все, чего я не знаю, и мне показалось уместным ввести в текст эту интродукцию-рефрен из блаженного Августина: "Позволь рассказать Тебе, Господи..." Универсальный собеседник, какого нет и быть не может. Да, я привел его бумаги в порядок, я сделал эту работу за него — а ведь я был очень занят, я и сейчас занят, как вам известно, я готовлюсь к путешествию...

— Но что же случилось с этими бумагами?

— Видите ли...

... В конце концов он все же принес мне их. Я перелистал аккуратную машинопись и удивился: что за абракадабра?

— Что это? — спросил я.

Он стоял с убитым видом и отводил глаза.

— Да... по мере того как под моей рукой этот текст обретал некоторую связность и законченность, мне стало казаться... поймите, ведь он неспроста писал молоком, он тоже чувствовал, что это небезопасно — а в том виде, какой я придал... я подумал... я решил все зашифровать, по понятным причинам.

— Прекрасно. Где же ключ?

— Дело в том, что я...

— Разумеется, он его потерял.

Листочек с ключом к шифру куда-то завалился, а принцип он забыл — и теперь не мог прочесть ни слова!

Бедный карлик! Я без труда разгадал его шифр. Душа Чистилица писала от I-го лица — в обработке моего римлянина это "я" сохранено, и по праву, так как к исходному авторскому "я" он примешал свое бедное "я" — и в какой чудовищной пропорции!

Но пусть не пугает его моя проницательность. Ведь я нигде не назвал его имени. Я имени его не знаю и не хочу узнать его!

Наверно, он нашел нечто родственное в исповеди Души Чистилища. Он тоже страдал, он жил в состоянии перманентного аборта, а также, в переносном смысле, поноска изо рта и рвота соответственно через другое отверстие. Он готов был поверить во что угодно — и путь он почти карлик, а тот атлет, дореров Адам, — он тоже мог заговорить о странствиях души меж двумя, тремя, четырьмя мирами; и отчего б Душе Чистилища в свою очередь не примешать к своим суждениям Рим и все туры и колеса? Ведь это по чистой случайности не он набрел на термин или ошибся термином, как ошибаются /и ушибаются/ дверью; и даже может быть наоборот, термин ему-то и принадлежал, а тот, другой, у него заимствовал.

Я и сам, пожалуй, нахожу более или менее удачным этот универсальный символ, годный к любой трансформации. В нем все и ничего: оперная декорация, страна во ди цитронен блжен, столица христианского мира и 2-ой транзитный город, дважды Рим и трижды Рим истории, и даже — у Данте — "тот Рим, где римлянин Христос" — а значит не что иное как Рай, небесная отчизна, куда предстоит вернуться. В конце концов невозможность назвать по имени не есть ли этико-эстетическая невозможность — а тогда единственное, что можно назвать собственным именем, — это Рим.

— Я вышел из воды, — пишет наш автор /который из двух? Но река-то одна и та же, Нева, и тот же песок на пляже у Крепости в городе св.Петра/, — вышел и встал, подняв лицо к солнцу. Моей вертикалью было мое тело, стоящее прямо, направленное вверх; моей горизонталью сделались мои вытянутые в обе стороны руки: я изобразил собою крест, и лег ничком на горячий песок, и хотя мне было жаль лишиться вертикали, но теперь я мог немного утолить свою тоску, обнимая плоскую подо мной землю. Ухо я прижал к земле и услышал звон — и знал, что он издалека, колокола звонили в Падуе и позже в Риме. Колокольный звон означал конец прекрасной эпохи — дальше будет другая, может быть еще более прекрасная, но мне-то она была неинтересна, потому что я жил и прижился в этой прекрасной эпохе, а теперь надо было жить среди могил, ведь я не кончился вместе с эпохой. Но величайшее мое отчаяние было все-таки то, что земля,

на которой я лежал, изображая собой крест, была не та земля, где звонили колокола. Надо было эту обменять на ту, но по той ходивший тоже был не тот, за кого его принимали. Не приведи Бог поселиться в квартире, в которой прежний жилец имел дурную славу: в новом будут видеть старого и валить на него все старые вины. И тому, прежнему, на своем новом месте не легче: а-а, он живет теперь здесь, и разумеется, загадит и эту квартиру по старому обыкновению. Он доказывает, что нет: это-де не я, т.е. не он, потому что новая квартира, иная среда обитания его изменила в корне, — да вы признаете или нет, что бытие определяет сознание?! Он все прежние привычки оставил, и когда говорит "я", то понимает "я" не прежнее, а новое на новой земле и под новым небом: нова креатура, согласно апостолу Павлу /у Горация, впрочем, не так: только лишь небо меняет, не душу тот, кто за море едет/. "Нет, это все-таки ты!" — кричат ему. "Да не я же, нет, — оправдывается он, — смотрите лучше!" "Видим, видим, а все-таки матрица..." "Но я пожелал стать другим и стал им — да вы верите или нет в свободу воли?!" "Верю, верю всякому зверю, а ежу погожу." "Ну сядьте на ежа, силъ ву пле, увидите — он уже значительно смягчился..."

Увы, вот так бывают евреем: кровь на нас и на детях наших. Какой ни будь еврей добродетельный и честный и на диалог с христианами согласный — все равно еврей. Уж он Христа мессией признал, а там и крестился и имя в крещении переменял, он австрийский барон, сардинский маркиз, уже не Маркс, а братья Маркс и вообще марка магазина "Маркс и Спенсер" — а христианам все как-то не по себе. Это премудрый Рим, т.е. Ватикан может сделать крещеного еврея кардиналом архиепископом Парижским /Жан Мари Люстиже/, и с некрещеных евреев снять проклятие — а непремудрой массе евреев все равно воняет. Он наконец идет в антисемиты, объявляет — трагический персонаж в комической ситуации, — что избранный народ перестал быть избранным и мессианская роль его кончена, так как творческий импульс тсссяк; и даже что ему, крещеному, под христианским ядерным зонтиком только и безопасно от евреев.

И все это зря, потому что для всех он еврей и таким оста-

нется ин секула секулорум. На нем отяготела вина — не своя, а чужая, или часть таковой. Следовательно, искупление должен взять на себя кто-то другой или третий, кто возлюбит эту душу и захочет ее за руку вывести из Чистилища /а не из Ада?— но оттуда нет выхода, так что предположим Чистилище, тем более что эмпирическое различие нам недоступно/.

Но как это сделать? Куда пойти, ведь это суший кошмар. Поневоле пожелаешь чего-то экстерриториального, вроде летающей тарелки в прямом и переносном смысле, где несть ни эллина, ни иудея, ни национального государства, ни национального Бога. Летающая тарелка или Рим, с античных времен универсальный символ, потому что вопреки всему, что сказано о родине, семье и почве, великая идея чрезвычайно теряет, попадая в национальные, так сказать, руки; потому что проблема, неразрешимая в местном масштабе /в том числе и по причинам кулер локаль/, может быть решена наднационально по принципу внешнего дополнения. Всемирная тотальная дифференцированная интеграция /путливым можно предложить для начала федеральную основу/, — а саму идею нации, родины следовало бы вырвать с корнем, пускай с болью и кровью.

С болью и кровью? Ну уж это не о нем будь сказано. У него без крови обошлось бы, да и рвать было нечего. Он ни дома, ни семьи не желал иметь, и всякое родственное чувство было ему чуждо. Выродок, безотцовщина, бродяга с космическими претензиями. Римские каникулы на пляже у Петропавловской крепости!

О ком это? Не о бедном же путешественнике?

Я говорю о богословствующем дилетанте.

Легко бранить, скажут мне, — а вы-то что делали бы на его месте?

На его месте... но мне не хотелось бы быть на его месте. Нынче всякий умствует о религии, а я уже говорил о своей неприязни к баналу. Но пусть. Предположим, что я, так и быть, займу его место. Но тогда я и буду поступать в соответствии с требованиями места. А то наломают дров и потом вопиют: я-де не знал. Надо было знать!

Если в конце концов определенные вещи должны быть непо-

знаваемы по статусу своему, то нечего и пытаться. Незачем апофатическое переделывать в катафатическое. Если видеть Его нельзя — то блаженны не видевшие, но уверовавшие: впечатляют же нас фильмы, которых мы не смотрели, и книги, которые мы не читали, а только слышали.

Рассудим по аналогии. Я не знаю, Кто и каков Тот, Кому я говорю "Господи, Господи", — и никто не знает; но никто не знает, что такое любовь, однако ж сотни и тысячи эротических трактатов и пособий учат технике любви. Трактатов по технике веры написано, конечно, не меньше: по ним-то и следует тренироваться ежедневно, как делает музыкант, спортсмен, балерина. Игнатий, например, Лойола рекомендует читать "Патер ностер" ритмически: фраза на вдох, фраза на выдох... и т.д. Я иду от деталей, индуцирую от частного к общему; а результат? Но какой же я верующий, если усомнюсь в результате? Возможно, сравнение со спортсменом или балериной все-таки несколько легкомысленное, — скорей уж я овладеваю ремеслом укротителя львов и тигров. Что ж., я должен доверяться и рисковать, рисковать и доверяться...

И далее, восходя по ступеням тео-лаической лестницы, я приобретаю сноровку настолько, что сумею вычислить с точностью до 0,1 м длину пути, который определено пройти во искупление той души, которую я возлюбил. И с точностью до 0,1 см. кв. величину территории, которую надо обработать киркой и лопатой, полить потом и кровью, — во искупление ее вины ту часть Чистилица, островок из тысяч, на которые раскололась Атлантида, Гондвана общей вины, — один, приходящийся на ее долю. Я берусь за эту работу по принципу обмена, взаимозаменяемости земли и личности.

Я беру ее вину на себя — из любви к ней, но также и потому потому, что ее грехи меня в Рай не пускают, и наоборот, разумеется. Моя любовь, возможно, это темная любовь сообщника к сообщнику, проклятому тем же проклятием. Мы связаны круговой порукой, в одиночку нам не выбраться: как макаки, мы сцепимся хвостами, чтобы взобраться на дерево; как бандар-логи, мы шумно обсудим каждый шаг на пути к цели; как исполненные достоинства шимпанзе, подставим друг другу руки, и плечи, и головы, чтобы

перелезть через забор.

Свобода и море горят впереди!

Но чтож это, скажут мне: опять иносказания? Опять попытка по дешевке отделаться переносным смыслом?

Ничуть. Кто не умеет взяться за дело теологически — берется историко-политически. Поставили, например, недавно во Флоренции оперу "Тоска" в новой интерпретации: Рим 1943 года, немецкая оккупация, Сопротивление, барон Скарпья — гестаповский офицер высокого ранга. А партизан Анджелотти по-прежнему прячется нель поццо дель джардино, в саду в колоде, и все прочее без изменений, потому что подходит: колокола звонят как полтора года лет назад в замке Сант Анджело, и Каварадосси расстрелян тоже за недонесение. Дирижер турок Зубин Мета, режиссер англичанин Джонатан Миллер. Но трое флорентийских коммунальных советников-демохристиан возмутились, так как в оригинальной версии барон — глава папской полиции. И пусть он в обоих случаях баритон и злодей, параллель меж папской полицией и гестапо оскорбительна.

Разумеется, оскорбительна. И вульгарна и неостроумна — для тех, кто здесь желает видеть параллель. Но параллели нет, и я подозреваю, что три весельчака из Флоренции просто хотели посмеяться.

Мне однако ж не до смеха. Я вспоминаю, что согласился занять место печальной Души Чистилища, которая в ряду многократных подмен сама занимала чужие места и — вспять по времени, как вдоль по Питерской — отождествлялась с теми, кто не желал отождествлений и параллелей, а ему навязывали, — например, с потомком крещеного еврея или, если угодно, с цветным — квартироном, квинтероном, октороном, белым по коже и по крови, которого продолжали держать как черного раба, хотя среди его белых предков попадались, возможно, графы Прованские, упомянутые Данте в 6-ой песне "Рая". Он занимал эти и другие чужие места, в том числе даже несовместные, например — альтернативного испугателя, этакой христообразной обезьяны, а минуту спустя — уже мстителя, который поднимется скоро из наших костей, и из одного состояния в другое его переносило так стремительно, что ког-

да ноги были уже справа, голова еще оставалась слева, и ветер свистел в ушах, а эхо повторяло ритму. И он — т.е. предположительно я — был теперь достаточно тренирован, чтобы взяться за работу, количество которой высчитал, за дело освобождения души-сообщницы, — и кто за это возьмется, если не я?

Кто другой поставит в церкви свечку, кто возьмет за руку окторонного маркиза, Маркса, Спенсера, чтобы вывести из Чистилища — предположительно из Чистилища, потому что из Ада исхода нет?

Вот как я поступил бы на его месте: *if I were you*, как говорят англичане; глагольной формой подчеркивая невероятие перемещения; ней свои панни по-итальянски — в его одеждах, иначе — шкуре: надень чужую шкуру и походи в ней. Мне это нелегко по причине разницы лет, а еще жаль частью лишиться стариковской мудрости. Правда, теряя интеллектуально, я приобретаю физически, ведь у него великолепная фигура... у кого? о ком речь?

Разумеется, о молодом человеке, возлюбленном Ольги, Душе Чистилища — в данном случае о плоти Души Чистилища. Но почему бы мне, теперь уже мне самому на моем собственном месте не предложить в обмен на его плоть свою душу — пускай в зачет? Хотя бы в зачет за хотя бы часть, ведь взаимозаменяемость доказана; предложить себя невзирая на территориальную принадлежность, вернее — как раз по причине территориальной принадлежности, которая мне дает право на часть вины. Где если не здесь? В Чистилище ли, в Риме или на летающей тарелке — мы все здесь отсидевшие, а значит обрусевшие.

Ныне совершим операцию обратную прежней абстрагирующей, возвышающей город св.Петра до универсального символа, пустой оболочки, которую можно наполнить чем угодно. Сыграем на понижение: отяготим его плотью, т.е. конкретной землей, во ди цитронен блюен, нальем тяжелой синей морской водой и повесим сверху этикетку "блокированная демократия". И по совести и по чести осмелимся предложить море за море, реку за реку и землю за землю, т.е. песок на пляже у Крепости: город св.Петра за

город св.Петра, известный под псевдонимом "Рим".

Однако ж довольно. Из дальнего плаванья по волнам переносного смысла пора вернуться к прямому. Но почему и тут, на terra ferma, меня все еще пошатывает, как матроса, только что сошедшего на берег? Надо назвать наконец без символов и аллегорий все и всех своими именами: я перепрыгиваю со льдины на льдину, перехожу от иносказания к иносказанию, все ближе, ближе, тепло, еще горячее, вот-вот прозвучит слово, вот уже земля подо мной дрожит — материализованная цитата из Данте, у которого Гора Чистилища сотрясается сверху донизу, когда одна из душ получает свободу...

Но нет. Не могу. Что-то мешает.

Неужели не найдется никого меня заменить?

Или еще не время?

Разумеется, не время. Не кончен бад, т.е. лестницы не пройдены, лестницы взамен дыры, Горы Чистилища. Кому не лень — идите со мной до конца.

Я, например, счел возможным и необходимым отправиться к истокам молодого человека, хотя бы ближайшим. Я пошел к его матери, затем что мне понадобился биографический комментарий. В рукописи, названной "Занимательная теология", кое-где попадались стихи, как известно, стихи надо понимать буквально, иначе они превращаются в бред. Я нуждался увидеть, так сказать, интерьер, в котором они сочинялись.

Я был представлен его матери и удостоился чрезвычайно приятной беседы. Мне предложили чаю, и хозяйка сама размяла ложечкой в чашке кружок лимона с сахаром. К чаю были сухарики и ничего кроме сухариков, и я подумал, что следовало принести с собой пирожные или даже торт.

Мы говорили о погоде, о зимних холодах. Дом старый и толстенный, но не мерзнет ли она на I-м этаже? Бывает, отвечала она, но зато не надо спускаться и подниматься, что "было бы утомительно для старой женщины". Я протестовал галантно и совершенно искренне.

Все здесь было бедно, но достойно. Оглядевываясь, я заметил на подоконнике стеклянную банку с водой, в которой плавала лу-

ковица с зелеными ростками. Белые корни шевелились в воде. "Раньше я растила цветы", — сказала она. Действительно, на подоконнике стояли горшки с землей и маленькая зеленая лейка. "Цветы, — повторил я, — розы и лилии. Розы и лук!" "Теперь все стало трудно," — сказала она улыбаясь. "Ваша луковица удивительна, — воскликнул я в увлечении, — настоящее маленькое чудо! Эти корни кажутся живыми и похожи на морскую звезду, на медузу. Прибавьте увеличивающий эффект стекла: они похожи на щупальцы спрута. Морская флора и фауна в миниатюре!" "Мой сын, когда был маленький, отщипывал и съедал в день по перышку." "Замечательно: витамины зимой и летом. И одновременно какая пища для детского воображения. Право, можно завидовать вашему сыну." Она вздохнула. "Удивляюсь, как он не сделался ботаником или зоологом," — продолжал я. "Не знаю, — призналась она, — я никогда не знала, о чем он думает." "Такой он был скрытный?" "Нет, напротив, он часто начинал мне что-то объяснять, что-то свое рассказывать, и раздражался, а я старалась слушать, но мысли мои рассеивались. Я делала внимательное лицо, сдвигала брови как бы в умственном усилии, кивала и говорила: "вот как! да неужели? и в самом деле поразительно..." "И он не замечал, что это... игра?" "Боюсь, замечал все-таки, — сказала она. — Наверно, я не была хорошей матерью."

Его отец умер так рано, что сын не узнал о нем почти ничего. Отец писал картины, вернее — одну и ту же картину в нескольких вариантах: зеленый луг, высокая трава, пасется корова всегда боком к зрителю. Трава высотой с корову и листья травы жесткие и застывшие — нечто в духе таможенника Руссо, но тот хоть был талантлив. Эти животные никогда не качали рогами; эту траву ни разу не тронуло ветром. Неужели художник не видал ни настоящего луга, ни живой коровы? Впрочем, его коровы были анатомически правильны. Вглядываясь, я догадался, что они похожи на условное изображение туши в мясной лавке, только без расчленяющих линий и надписей. Жаль, что не настоящее э то было мясо, ведь семью надо кормить; жаль, что эти коровы не доились!

Однако что-то в этом было. В художнике ворочалось нечто громадное, неуклюжее, тяжелое, как его коровьи туши, жесткое

и негнущееся, как его трава, и это нечто он из себя извлекал — не целиком, а кусками, как при неудачном аборте.

Я долго с задранной головой разглядывал картины, и у меня заболела шея. Должно быть, на моем лице читалось недоумение и замешательство, и вдова сказала: "Они там всегда висели. Они не мешают там наверху." Мальчик, продолжала она, иногда подрисовывал коровам хвосты и набухшее вымя: это разрешалось, потому что никуда из дома картины не выходили и не могли выйти. Я содрогнулся от жалости и лютой, лютой тоски. "Боюсь, я не была ему хорошей женой", — сказала она и развела руками.

Так оно и было, ведь он погибал у нее на глазах, а она только вздыхала и улыбалась. Художнику нужно море и небо, и женщины в алмазах, и кругом искусство, искусство, искусство. А это что же: коммунальная кухня, голые стены и лук в банке. Все достойно, но бедно. Он уходил из дому, а потом возвращался, потому что уйти совсем было некуда, но однажды все-таки не вернулся: утонул, захлебнувшись в ванне у какого-то знакомого, куда его посадили в шутку или для вытрезвления. Но если б не эта досадная случайность, он вернулся бы и возвращался бы доньше, ведь она улыбалась необычайно пленительно.

Теперь для сопоставления припомним эпизод в квартире на 16-м этаже дома-башни, где молодой человек стоит у стены задрав голову и разглядывает паука. К нему сейчас придет Ольга, и разыграется сцена совращения. Предположим /весьма правдоподобно/, что сыну живописца привычно любой предмет на стене видеть заключенным в раму; а если рамы нет, значит она где-то висит пустая, а изображенный на картине персонаж обрел свободную волю и ушел, убежал из рамы. В нашем случае — уполз. Таково, я думаю, происхождение и таков смысл его стихов:

Это не снится:

Шестиногий жучок-паучок шевелится,  
Худородная тварь городская,  
Водопроводная пена морская.  
Хочет вернуться домой в картину,  
Старается слабый хвост мышинный,  
Лезет, потеет под серую шерсткой,

Справится,  
схватится  
и  
свалится.

На него  
Глаза б не глядели!  
Что делать?  
Пристрелить бы жалеючи:  
Я же не злее, чем  
Художник, его сотворивший  
И забывший.

Он слишком долго созерцал папка, чтобы видеть только паука: путем подмен он преобразил его в медузу, в спрута, в луковицу с шевелящимися корнями, т.е. все что гнется, извивается, струится — по контрасту с застывшими, как бы сведенными судорогой линиями на картинах отца. И это трижды, четырежды превращенное существо в конце концов становилось человекообразным, с лицом и глазами, которые глядят "с печалью бездонной", — так написал путешественник, сложивший эти стихи из клочков и обрывков; я думаю, он ошибся, и правильнее, во всяком случае менее банально будет "печаль мадонны".

По этому, так сказать, словесному портрету я сделал рисунок, и у меня получился бедный уродец, кроткое маленькое чудовище в роде фантазий Арчимбольдо или Одилона Редона. Он мог бы быть пилотом летающей тарелки.

Мадонна... Изучая его бумаги, я опять подумал об его обмороке. Кажется, мы предположили, что эта возмутительная сцена повторяла ту давнюю — замысел ночи брачной и новогодней, когда девичье тело подобно кадилнице источало фимиами навстречу возлюбленному: сам Барков был бы доволен, и запах селедки ему не вспомнился бы. Но молодой человек устоял — т.е. упал, лишился чувств и мог умереть, т.к. язык у него запал в горло. Поистине ему не везло с этим нужнейшим орудием! Ольга спасла ему жизнь — и следует помнить, что не только ему, но и ей пришлось без конца проигрывать эту ситуацию; с каждой новой неуда-

чей в ней накапливалась обида, досада, но она снова и снова спасала ему жизнь. Столько раз она держала в руках его орган, оказавший усталость и вялость, и не рванула, не дернула. Откуда такое терпение?

Я думаю, что бедная женщина хотела от него ребенка. Да, теперь уже только ребенка и ничего кроме ребенка, потому что Сикстинская мадонна сходила к ней со стены не с пустыми руками, не бросив Дитя висеть в воздухе на попечении св. Барбары или хоть семи нянек.

Оттого-то его воображение и играло с ним в кошки-мышки, в повторы, в жарко-холодно, как котенка тыча его носом в то, что натворил.

Но хотела-то она: откуда же знало о том его воображение?

Но это очень просто. В единой сфере единого сознания все воли и представления объединены в дифференцирующей интегральности, и эта сфера — прекрасная во всех направлениях проводящая среда. Иначе откуда бы взяться чужой вине, возложенной на другого, лично к ней не причастного, и что бы делать с идеей взаимного искупления?

Мы еще вернемся к этим бумагам. Пока же продолжим наше тройное путешествие.

## Часть вторая

### 8

Они бродили по дорогам, т.е. по лестницам, и приближались к выходу из подземелья, в то время как наверху решалась судьба долгого дождя. Последние несколько дней погода отчаянно колебалась, и люди, открыв окна, высовывали руки и головы и глядели на небо. Наконец в ночь на II сентября все было кончено. А утром они вышли наружу — полуголый дух, карлик и женщина — и остановились перед громадной каменной лестницей. Светило солнце, небо было как синее море, и широкие ступени и мраморные статуи по краям словно чудом успели высохнуть. Ни следа непогоды: да была ли она?

Какая красота! Для кого, для каких надобностей ее постро-

или? И когда? — наверно, давно, потому что ступени растрескались, а белые статуи потемнели, и у иных недоставало руки или головы. Но это не были забытые, брошенные развалины. Народу кругом было видимо-невидимо. На ступенях сидели, стояли, лежали; стонала полураздетая женщина, и снизу к ней поднимался врач, осторожно пробираясь в толпе. Он встал на колени возле больной и загоаорил с ней, успокаивая. Подошли двое мужчин, перевернули ее на живот, и врач вынул из сумки шприц. Молодой мужчина сидел спиной к девушке, и та прямо на нем зашивала порванную рубашку. Рядом горел костер, над огнем висел котелок. Пробежал мальчик, толкая людей, опрокидывая вещи, он махал рукой и кричал: "Вода с двенадцати до трех!" И трое с краю лестницы спустили ведро на веревке — куда? Вниз, как если бы необозримая лестница располагалась не по склону горы, а висела в пустоте — но не бездонной, потому что ведро с водой скоро вытянули. Какая однако ж крепкая толстая веревка! Здесь, похоже, готовились стирать, а потом сушить белье: отвязав от ведра, веревку натянули меж двух ближних статуй. А для питья была семья ступенями выше традиционная статуя-фонтанчик: голый поливающий малыш, и к нему уже набралась очередь с котелками, банками, кружками.

И навзничь лежал на ступенях старик, которому ни воды, ни еды, ничего не нужно было. Он спал.

Спал? Значит, там была тишина, безмолвие? Но это невозможно, люди разговаривали, кричали, гремели ведрами, и уж конечно на каждого приходилось по транзистору и на одного из трех по магнитофону.

Но это сущий Ад!

Да нет, под небом, в воздухе шум как-то рассеивался, и множество звуков взаимно гасились. Ведь когда сотни, тысячи сразу говорят, поют и плачут, не различить даже, на каких языках: все сливается воедино. Настоящий оглушительный грохот можно было услышать лишь взойдя на 55-ю ступень...

Здесь следует сказать, что наше беглое описание несоразмерно долгому пути, т.е. сжато и суммировано. В действительности же маленький странник, поднимаясь по лестнице, лишь посте-

ленно мог увидеть происходящее и с грехом пополам уразуметь. Едва вступив на лестницу, он и оглянуться не успел как потерял в толпе своих спутников; но он был мужчиной и не растерялся. В конце концов разве не готовился он путешествовать в одиночку, без гида?

Он скоро заметил, что на ступенях среди мусора валяются всякие нужные вещи, стоит только наклониться и поднять. Он нашел помятый котелок и ложку, колпачок от термоса, а чуть повыше и самый термос, по-видимому, годный, и пузырек Йода. Он подбирал что попадет: суповой концентрат, жестянку растворимого кофе, — а когда уже не мог все это держать в руках, ему попался рюкзак, потрепанный и грязный, но крепкий. Он остановился в смущении. Это, наверно, летний туристский лагерь, но как же здешние люди так беспечны? Он побросал в рюкзак свою добычу: никто не схватил его за руку.

И карманы у него были набиты всякой всячиной.

Теперь он немного успокоился и, чувствуя усталость, сел прислонясь спиной к статуе. Он закрыл глаза. Но заснуть не удалось ему. Тысяча новых ощущений одолевали его нос, глаза и уши, и тысяча мыслей — ум. Эти люди вокруг, живущие так небрежно и неустроенно, то ли жертвы какой-то природной катастрофы, то ли социально-политическое кабаклизма, массового исхода. По всему видно, что они тут прибывают временно — что ж, он и сам в своей новой коммунальной квартире поселился ненадолго, а потому и не заботился устроить свой быт. Но он неустанно хлопотал, беспокоился, трудился, он — в прямом и переносном смысле — укладывал чемоданы, выправлял бумаги /и сейчас не переставал об этом думать/ — следовательно, делал все, чтобы поскорее окончить временное существование и начать постоянное. А эти беженцы — так он их называл — ничего, похоже, не хотели. Возможно, они чего-то ждали — разрешения ли вернуться домой, или въездной визы в ту страну, какая их примет. Но тогда им следовало бы жадно ловить всякую новость — а они и транзисторы свои слушали вполуха, как привычный шумовой фон. Что же они делали, когда не варили, не стирали, не ели?

Не вставая, он вертелся, ища с кем поговорить, и нечаянно толкнул старика, который запрокинув голову, допивал из кружки воду.

— Ах, простите!

Кружка покатила по ступеням.

— Что ж, кружки вышибать из рук — это не запрещается.

— А что здесь запрещается?

— Запрещается запрещать. Вы новичок?

— Да хотелось бы узнать кое-что...

— Узнать надо самого себя. О душе подумать!

— Здесь, значит, думают о душе?

— О чем же ещё?

— Но они так бегают, суетятся...

— А кто сказал, что о душе надо думать непременно в позе Родена? Т.е. Мыслителя; но в конце концов, кто знает, как именно полагается думать о душе?

— Весьма вам признателен, — сказал путешественник, — но как же вы без кружки?

— Понадобится — другую дадут.

— Здесь раздают кружки?

— Почему бы нет. Кружки и все прочее.

— Замечательное место. Прямо Рай!

— Скорее уж Ад. А может — Чистилище.

— О, разумеется. 2-ой мир, вернее 1-ый, потому что вечный, с него и счет начинать. Жаль, что меж тем и этим миром так много препятствий: добраться нелегко, а чтобы выбраться, наверно, надо специальное разрешение?

— И все-таки вы пришли.

— Я — другое дело. Я пришел, можно сказать, не своей волей, а просто не мог бросить на произвол судьбы одно существо. Впрочем, и она тоже...

— Т.е. за компанию. Да, здесь таких много, хотят и жить вместе, и умереть вдвоем, а выходит ни то ни другое. Связи здесь непрочны, в толпе недолго потерять друг друга, и бывшие влюбленные блуждают в одиночестве.

— Боже сохрани! — горячо сказал путешественник.

- Будь по-вашему.

- А по-вашему?

- Что об этом говорить.

- Я, право, не знаю... но мы же в Чистилище, так сказать - доказательство...

- Ну и что. Ничего не значит.

- Но тогда зачем думать о душе?

- А что тут еще делать.

Путешественнику пришлось согласиться, что старик владеет логикой. В самом деле, что еще оставалось здешним людям, как не думать о душе?

Они не строили дома. Не сеяли хлеба. Не заключали браки и не заботились о будущем. Еда, одежда, предметы первой необходимости были даровые; в определенные часы давали воду. В холодную погоду им с вертолетов сбрасывали ватники и палатки, а чтобы разжечь костер, было более чем достаточно мусора. Они не страдали от одиночества, но и не принуждаемы были к общению. По надобности помогали друг другу и когда хотели - разговаривали, а нет - молчали. Они не делали карьеры. Честолюбцы, потенциальные лидеры, все равно - прогрессисты, террористы, консерваторы - не могли себя проявить, потому что никто в них не нуждался. Это человеческое скопление не было ни обществом, ни государством.

Но это ужасно!

Или наоборот очень хорошо?

Кому как. Иные так приживаются, что остаются на месте годами, десятилетиями. Веками! Как, например, этот старик. Никто его отсюда не гнал и никто не удерживал: зачем же решать, если не решать позволено?

Или, например, путешественник видел на лестнице художника. Цветными мелками тот рисовал на ступенях - рисовал неизвестно что, т.к. снующие ноги прохожих тотчас стирали рисунок. Художник не защищался, не кричал; он упрямо чертил снова и снова. Толкуйте это если угодно как символ растоптанной красоты - или как онанизм, потому что здесь, вне рыночных отношений, искусство не могло быть, как должно ему, предметом купли-продажи, а бы-

до только самовыражением, и то на миг.

Но кто хотел, мог встать и идти.

По ступеням вверх неуклонно шли несколько человек, не более десяти, не останавливаясь и ничем не отвлекаясь.

— Они сделали выбор, — объяснил старик.

— Ну и ну, — сказал путешественник, наконец-то! Ни страха, ни конвоя, ни голода! Надо же, куда пришлось забраться, чтобы такое увидеть. Это, значит, и есть в чистом виде свобода воли?

— Да, — ответил старик и добавил торжественно: — Да может тебе Бог!

— Вы чрезвычайно любезны, — сказал путешественник, — я, конечно, понимаю, что слова ваши следует толковать в переносном смысле. Лестница, например, восхождение: такой знакомый и традиционный ~~символ~~ символ, избравшие идти идут, избравшие остаться сидят — живые и мертвые вперемешку. Позвольте однако спросить: вы-то сами живы или умерли?

— Я устал, — ответил тот, — прости, мне хочется спать. Кто в конце концов может сказать о себе, жив он или нет?

Это было очень понятно путнику: он и сам о себе полагал, что не жил еще, а только собирается — это в пятьдесят-то лет! И когда старик заснул, преклонив голову на босой ноге статуи, путешественник оглянулся и вытащил у него из кармана пачку сигарет. Не для себя он воровал: надеялся при встрече обрадовать Ольгу.

Он был неисправим. Он даже рюкзак не бросил, хотя у него на глазах с вертолета сбрасывали тюки с одеждой, суповыми концентратами и т.п., так что запасливость ни к чему.

И он страдал, замечая на ступенях отвратительные черные следы костров: именно так, в его представлении, когда-то древние варвары уродовали беломраморный Рим.

И все же, хотя он кряхтел иногда под тяжестью рюкзака, здоровье его заметно улучшилось. Движение, свежий воздух укрепили его сердце, расширили легкие, развили мышцы. Любой врач был бы доволен его физическими показателями. Его тело /не считая, увы, роста, / наконец-то пришло в соответствие с его душой — которой красота неоспорима, ведь он отрекся от дела своей жиз-

ни, наполовину, а то и на три четверти улаженного, и ввязался в совсем иное путешествие, сомнительное и с неверным исходом — потому лишь, что не мог оставить первую любовь свою.

Не правда ли, пример прекрасный и почтенный. Но не универсальный. Почему надо быть верным своей первой любви? А если вы по неопытности в любви, по невежеству в любви любили какую-нибудь дрянь? Или — иначе — вы были в юности экстремистом, так вопреки естеству оставаться им до седых волос? Мальчишкой вы сделали на груди глупую татуировку: так и лечь с ней в могилу?

Нет, уж если на беду вы были прокляты своей первой любовью, своим прошлым, надо попытаться это прошлое изменить.

Как? Очень просто. Надо дать ему /себе/ определение.

Исповедующийся произносит о себе суждение краткое, как запись в удостоверении личности, и эти несколько слов немедленно и радикально меняют его статус. Черный кобель, вопреки половище, белеет буквально на глазах. Могут возразить, что слова все-таки не изменили его прошлое, факты его прошлого как таковые. А я говорю: нет факта вне определения. Он сам для себя предмет эксперимента и одновременно экспериментатор, чья оценка решающим образом влияет на ход и исход эксперимента — при том, разумеется, необходимом условии, что он чисто плотный индетерминист, т.е. признает свободной свою волю. Его бытие не определяет его сознание, а напротив, его сознание дает оценку его бытию без смягчающих обстоятельств. х)

Да ведь черные кобели, я думаю, в такой надежде к такой купели побегут в очередь становится — и верующие и неверующие! Впрочем, кое-кто и останется из упрямства, из непоколебимости. Но не больше десятка.

Однако, эмпирия лестницы как будто противоречит нашему утверждению? Туземцы сидят, не торопятся — почему же?

Но ведь случай с тем мытарем, который назвал себя грешным — и ушел оправданным, этот случай нам дан как абсолютная формула, как изумительная надежда — поперек юридической нормы "каждому

---

х) Рассказчик здесь смешивает дефиницию, суждение и оценку. Кроме того, он наивно полагает, что достаточно назвать себя грешным, чтобы сделаться святым.

по делам его". Сложности начинаются тогда, когда в формулу надо подставить свои собственные конкретные величины. Прошлое прошло — и совершенно беззащитно, потому-то оно и обратимо; но оно обло, озорно, огромно, и это страшная тяжесть, как мертвое тело. На лестнице сидят и "думают о душе", как сказал старик, но именно только думают еще — впервые о душе и ни о чем кроме, и с величайшим трудом, словно ворочают громадные камни: попробуйте-ка с непривычки.

Они, сидящие, сидят лишь в самом начале процесса; и даже те, кто встал и идет вверх, тоже еще в процессе, да и будет ли результат? Наш маленький странник, например, так и пройдет всю лестницу без толку. У него другое на уме.

Вблизи от вершины путь ему преградили странные создания. Сперва ему показалось, что это каменные глыбы, но они были живые и двигались, и лестница дрожала от их тяжести. Они были огромны, и путник остановился. Тяжелые бесформенные туши окружили его, мыча и тычась ему в ноги: "ммусо-ммусчи-мбутал-ка..." Разумеется, что-то они там символизировали, ведь символической была вся лестница и на ней тысячи мужчин и женщин. Но чудища реально мешали пройти: маленький путешественник рассердился и топнул ногой. Тогда одна из этих уродливых фигур приподняла голову и поглядела на него печально и умоляюще, и глаза у нее были как на картинке Одилона Редона. Он растрогался, протянул руку и погладил ее по голове, бормоча: "Раз-два, бом-бим, кто из вас не-поко-бе-лим..."

— На кого они были похожи? — допытывался я. — Моржи, тюлени, бегемоты, сфинксы с набережной Невы?

Он колебался.

— Возможно, лежище слонов без хобота, львов без гривы. Но и сфинксы тоже: черты лица — морды — совсем стертые. Они были уродливы, как голые жирные тела, дрожащие горы мяса на пляже у Крепости, но громадней, они могли меня раздавить, и я боялся. Я как раз давно не ел, и чувствовал, помню, одновременно голод и тошноту. А лестница сотрясалась как от подземных толчков...

Этот эпизод подтверждает мое предположение. Трудна не

столько самооценка, сколько последний решительный акт ее: артикуляция. Подумали, четверть ощущения не в счет, нужен словесный эквивалент — всего не сколько слов, как два-три комочка творога из моря молока. Он счел их полуживотными — они же были люди, деформированные мучительными усилиями; они раздулись, разбухли, и их мычание и было пред-слово, симптом появления того слова, которое должно их освободить.

Он сказал, что лестница тряслась от тяжести — а это была материализованная цитата из Данте: Гора Чистилища содрогается, когда одна из душ получает свободу. Из Чистилища только одна дорога — в Рай, и Вергилий, который не церемонился в Аду, к транзитным душам Чистилища обращается учтиво и даже почтительно.

Но я скептик: боюсь, что даже из этих не все спасутся!

У вершины, так близко к цели, кто-нибудь из этих раздувшихся несчастных нет-нет да сиганет вниз, сиганет — и сгинет без следа.

Наш путешественник все это видел своими глазами, но, разумеется, и половины не понял. Ведь он туда отправился вслед за Ольгой — нежной страстью как цепью к ней прикован, сколько б он ни уверял, что чувства его скорее отеческие. Ольга же последовала за своим неблагодарным возлюбленным — и как знать, не ждет ли ее наконец удача? Где как не здесь? Когда, если не теперь?

В начале лестницы, мигнув друг другу, молодые ускользнули от докучливого свидетеля, соучастие в побеге их сблизило, а дальше... Необитаемый остров, корабль, зал ожидания, лестница Чистилища равно экстерриториальны в пространстве и во времени; да суньте юную пару в застрявший лифт, и девять шансов из десяти, что начнется роман. Роман временный, транзитный, но возможны и последствия, — ибо целью Ольги, как известно, был ребенок. От счастья она похорошела и, быть может, снова сделалась похожа на Сикстинскую мадонну. Прелесть скоро исчезнет, но живот-то останется. Очевидно, в час зачатия Душа Чистилища обладала всеми нужными способностями.

Итак, Ольга на лестнице обрела Рай — с тою лишь разницей, что подлинный Рай, как и Ад, вечен. И незачем ехидно напоминать, что в таком-де транзитном раю она и прежде бывала, и мазохистски себя именовать "вокзальная", "б.подвальная". С вероятностью одного из десяти Рай может и там состояться /остальные девять, разумеется, сущий Ад/, — и снова вечное переходит во временное и наоборот. Почему бы нет?

Вот только маленький путешественник останется ни при чем, как в старинной песенке:

Все меня оставили,  
Скоро я умру.  
Мне клистир поставили,  
Да не в ту дыру.

А молодой Человек — Адам, Душа Чистилища?

Казалось бы, он изменил, исправил свое прошлое, вознаградил Ольгу — что ж, он освободился, и мы более не встретим его в нашем повествовании?

Увы, он тут еще. Путешественник встретил его на 55-ой ступени.

По его словам, он уже издали слышал шум, а когда приблизился, то на мгновение оглох. Так не грохочут на улице все грузовики и трамваи вместе; так не гремело и в подземелье. Когда же он снова стал слышать, то слушал не ушами только, но глазами и ртом и носом, и каждым волосом на голове, и всей кожей и глубоко под кожей. И не то что бы слушал, а соучаствовал. Музыка, сказал он, попадала ему прямо куда-то в живот. Ударник у них был что надо и старался врывсю, и бас-гитара тоже.

Ударник и был Адам, молодой человек — между прочим, теперь одетый, как и все здесь, в рубашку и старые джинсы, и когда поворачивался задом, видна была надпись "Ки Ми ама, Ми сегуа". А когда вставал в профиль, на фоне неба четко выделялся его римско-греческий нос.

Но был, вероятно, и певец, человеческий голос, слова. О чем же пели?

Разумеется, о любви. О чем же еще? Но это будет неточно так сказать, потому что о чем бы не пели, все равно это было

о любви; и так тоже неверно, потому что не "о любви", а как бы непосредственно делалась сама любовь в прямом смысле. И все слушатели, как и он сам, оказывались и слушателями и соучастниками. Состояние небывалое.

— Это была, словом, — неожиданно заключил он, — какая-то непрерывная всеобщая молитва.

Я возмутился.

— Эту теорию, верней претензию, чтобы искусство было не образом чего-то, а самим этим чем-то, — ничего-де потенциального, а один чистый Акт, — эту ахинею я давно слышал, а изобрели ее экстастики-импотенты, евнухи-завистники, которые не знали ни искусства, ни любви. А уж называть эту мерзость молитвой...

— Отчего же? В конце концов кто знает, как надо правильно молиться?

— Да вы скажите же, что пели? Какие слова?

— Я помню отрывки только, например:

Каждое утро и каждый вечер  
Подставьте головы, спины и плечи, —  
Кровь стекает с креста Христова,  
В крови умойтесь снова и снова!

— Черт побери!

— И в ту минуту мы все подняли головы и увидели, как по лестнице спускается епископ...

— Откуда вам известно, что это был епископ?

— Он был в мантии и митре и говорил по-латыни.

— Слава Богу, наконец-то! В конце концов как молиться — знает церковь. Аве Мария... и т.д.

— Епископ приближался, люди на лестнице опускались на колени. А певец выкрикивал в микрофон:

Зажгите свечи, подставьте плечи!  
Каждое утро и каждый вечер!  
Чтоб крови хватило, чтоб всех нас вымыть,  
Сжимайте крест, как коровье вымя!  
Доите кровь, доите любовь...

Какое кощунство. Вымя! Вымогательство... Уж хотя б мате-

ринскую грудь...

— Каждое утро и каждый вечер  
Подставьте голову, грудь и плечи,  
Чтоб отмыться до чистоты,  
Подставьте ладони и рты!

— И что ж епископ?

— Поднял руку и...

— И провозгласил анафему, разумеется?

— И благословил нас всех.

— Я вам не верю... Впрочем, простите. Мне невольно стало как-то жутко и холодно... Так там и крест был?

— Там был крест необычайной высоты, как бы сотканный из лучей, из игры света, минутами алый, как будто по нему действительно течет кровь, искрящийся и вибрирующий, появляющийся и исчезающий.

— Тающий крест изо льда с подсветкой, — подхватил я на-смешливо, — как у Любимова в постановке "Страстей" Баха то ли в Милане, то ли во Флоренции.

— Возможно, — ответил он, — в конце концов, кто знает, из чего делается крест?

— Ну еще бы. Кстати, как они пели — т.е. молились, по-русски?

— Всякую такую музыку поют по-английски. Так что слова, особенно рефрен, можно было различить.

— Так это ваш, стало быть, перевод — "вымя"...ГМ... вы далеко пойдете.

— Но я же учил немного английский, готовясь к путешествию.

— Прекрасно, это вам пригодится, — сказал я. — Но черт возьми, куда вам еще, ведь там, где вы побывали, уж конечно был не Ад: епископ, ренессансные статуи, мраморные лестницы! Фонтаны и пинии Рима! Еще и музыка: да это чистый Рай! Играй, играй, Диззи Гиллеспи, вы все там в белых платьях и в белых рубашках... если б не слова... Но вернемся к нему, т.е. к ней, Душе Чистилища. Она, значит, оказалась хорошим музыкантом?

— Не мне судить, в этой музыке я не знаток, но усилия он прилагал чрезвычайные. Рубашку спустил, завязал рукава узлом

на бедрах — и словно ворочал камни, вырывал с корнем деревья, его спина блестела от пота, нематериальные мускулы и вены вздулись, он весь дрожал и даже его великолепная фигура, казалось, утратила ясные очертания...

— А ЛЕСТНИЦА ТРЯСЛАСЬ?

— Но от такого грохота, таких ударов весь свет содрогнется...

Как видите, бедняга все смешал, недаром говорят: "врет как очевидец". Цели по-английски — но говорили-то там, на лестнице по-русски, ведь он всех понимал и его все понимали. Т.е. он был в православном Чистилище, — кстати, у православных Чистилища не полагается, — и вдруг латынь, католический епископ, Элиот и Данте. О римский квас, о клюква с пищей и кислая капуста к спагетти!

Впрочем, будем снисходительны. Тамшние туристы устроили, наверно, театрализованный рок-концерт, а он опоздал к началу и ничего не понял.

Да и что такое была эта лестница, как не летний туристский лагерь на старинных развалинах, во всей прелести каникулярной анархии: запрещается запрещать, и ни царя, ни парламента, ни сберкнижки, ни профсоюзов, — один только Бог и твоя свободная воля. Естественное объяснение, и никакой мистики.

Очень хорошо: а то подземелье, где все гудело и грохотало?

Возможно, он действительно побывал на строительстве метро, а если нет — так ему это приснилось /что он сновидец, мы еще убедимся/. Или же молодой человек, его спутник, обладал гипнотическим даром: заставил же он его увидеть море и рыб вместо грязной лужи.

Предвижу вопрос: я, значит, не верю ни в Рай, ни в Ад? Ни в бессмертие души, ни в Чистилище?

Но о феномене не говорят, что он есть или его нет, и не что он должен быть или не должен быть, но что он может быть с некоторой степенью вероятия. И более того: факты не существуют вне определений. И о них я говорю и "да" и "нет", а если угод-

но — ни да ни нет.

И никаких "а на самом деле"!

Я допускаю плюс-минус, двойное толкование, следовательно, двойное существование. Например, гремит бас-гитара, грохочут ударные, певец выкрикивает в микрофон: "Отрава, смерть, шантаж"! — а прокрутите ленту задом наперед, и улышитесь: "Вера, надежда, любовь." И наоборот, разумеется.

А бесплотная душа, сама Душа Чистилища?

Но наш путешественник пленился не душой, а телом, и с некоторым гомоэротическим оттенком: молодой человек был прекрасен как Адам под райским деревом. И он, путешественник, влюбился в Ольгу, которая была подобием елико возможным мадонны Рафаэля. Он любил красоту — буквальную, физическую: кто красив, тот и хорош, тот от Бога, а урод — от дьявола, и даже в точном процентном отношении. Никакой духовной красоты, красоты в переносном смысле при внешнем уродстве он и знать не хотел. Громадное большинство человечества при этом оказывалось ни то ни се, ни горячее ни холодное, не годное ни в Рай, ни в Ад. Но поймите ж и вы, пришедшие сюда для забавы и смеха: это в нем срабатывало компенсаторное устройство.

И тем же путем он сотворил себе прекрасный образ Рима — декоративной, оперной, туристской Италии. Я подозреваю, что он вообще человек театральный: в прямом смысле. Не актер, не певец, а предположим суфлер или оперный оркестрант, флейтист, а то — контрабандист /для пущего гротеску/. Сидел-сидел у себя в яме — и надумал. Но отчего же так долго сидел?

Ну, может, он музыкант не Бог вещь, и его в заграничные гастроли не брали. Или не дошел до кондиции "встань и иди": это только на лестнице легко делается, потому что буквально.

Но пусть не страшит его моя пронизательность!

— Послушайте, — сказал я ему, — все-таки я вас постарше, и опытом превосхожу, и вам добра желаю. Признайтесь, все ваши приключения можно объяснить естественным образом. — И я осторожно, деликатно изложил вышеприведенные догадки о лестницах, рыбах и прочем. Он слушал внимательно.

- Возможно, вы правы, - сказал он.

- Прекрасно! Так бросьте эту подозрительную историю, возвращайтесь домой, укладывайте чемоданы... если уж так вам не нравится.

- Я вернулся, - ответил он печально, - хлопочу и бегаю, осталось немного, сущие пустяки. Но она...

- Так оставайтесь, женитесь на ней.

- Нет, нет! Остаться - никогда! Вся жизнь... вы не понимаете...

- Ну так в конце концов берите ее с собой!

- Вы думаете, она согласится? спросил он со страхом и надеждой.

## 9

### Занимательная теология

Одно путешествие кончено, другое не начиналось еще. Ближится зима, холодная белая пауза. Вернемся к его признаниям, т.е. к бумагам Души Чистилища, которые в равной мере принадлежат обоим.

"Позволь рассказать Тебе, Господи..." Вот лучшее начало для исповеди. Но я не могу продолжать как Августин, с его восторгами и слезами, в его интонации влюбленной женщины, которая десять раз на дню твердит: "Ты меня любишь? Я тебя люблю - а ты меня любишь?" Кто верит, тот доверяет, а если доверяет, зачем повторяет? Любовь разве нуждается в таком недоверчивом возобновлении доверия?

Любовь Августина восходит по вертикали к Нему, в Его мир, а по горизонтали она заливает мир человеческий. Куда деваться от этого избытка?

Едва произнося слово "любовь", я слышал фальш, неверную ноту. Люди вокруг меня существовали - вот и все, что можно о них сказать. Но они существовали столь внушительным образом, что с ними приходилось считаться. Велено было их любить - этого я не мог, а потому всеми силами старался не ненавидеть.

Я исполнял требование в негативной версии.

Так обстояло дело по горизонтали. И по вертикали было не лучше: я и Его не любил, но однажды признав Его власть над собой, покорялся без протеста и с угрюмой страстью. Так я жил со дня на день и кое-как сводил концы с концами.

Но Он вошел под кров мой не один, а с большим количеством багажа, который я должен был принять и расставить по местам. Вернее, нет: это я вошел в Его дом, в Его дворец, где все теперь было моим — и не было ничего моего; я бродил по комнатам, переходил из зала в зал, ступая неловко и вздрагивая при каждом шорохе, — я надеялся и боялся увидеть Его. Он был где-то здесь, но уклонялся от встречи. Тут была библиотека, картины, статуи, орган, разная утварь и множество зеркал; я старался внушить себе, что я не в музее, а дома — и не мог, не смел дотронуться ни до одного предмета. Я подходил к зеркалам, видел себя и думал: вот подтверждение того, что я действительно здесь — и вглядывался, я ждал и боялся, что в зеркале появится за моим плечом Его отражение, хотя бы смутная тень. Но Его не было, а мое отражение меня смущало: оно плохо соотносилось с интерьером.

Я был как принц, в одно прекрасное утро проснувшийся императором, повелителем Рима и мира: блаженство — и ужас: он не умеет управлять своей державой!

Еще я был как гость на пиру, где нельзя оскорбить щедрого хозяина разборчивостью. Глотай подряд и не вороти нос — а мне предлагали, например, бессмертие, мое собственное бессмертие: на что мне оно?

Я был одинок — сначала силою вещей, потом по своей воле последовательно и беспощадно разрывая все и всяческие связи; автором моего одиночества был я сам, но наконец уже не я им владел, а оно владело мною. Пожизненное одиночество, которое однако я не желал наследовать как посмертное. Люди все-таки нужны были мне — не чтоб любить их, а как собеседники, но мне было не на что надеяться. Я потому и остался один, что те немногие, кого я хотел себе в собеседники, были мне недоступны. Нас разделяли препятствия, слишком много препятствий. Я привык

и кое-как смирился, но иногда начинал лупить в стенку головой: поскорей бы разбить или препятствие, или голову.

И это-то должно длиться вечно? Что мне делать с вечной жизнью, если она не более чем продолжение здешней, разве только в чуть лучших условиях?

Потом мне пришло в голову, что иные из тех, кого я хотел бы себе в собеседники, уже перешагнули границу и находятся там, а другие отсюда тоже перейдут туда рано или поздно. Значит, там я их встречу? Значит, бессмертие — это наконец-то дарованный диалог?

Тогда бессмертие для меня осветилось и зазвучало.

Я сделался нетерпелив. Я даже начал втихомолку желать тем, кто еще находился здесь, скорее очутиться там, — я забывал, что сам я еще здесь, и должен терпеть и ждать, потому что мне отказано в праве самовольно перелезть через забор, разрушить стену. Я сразу и без усилий поверил в Ад и Рай — быть может потому, что сам не сумел бы придумать ничего другого, — и, конечно, в Раю, где ж еще? — думал я, назначены встречи, обещаны разговоры. Я забыл, что для меня спасение только возможность, а не гарантия; мне следовало бы на время забыть о других и позаботиться о себе. А разве можно спастись в одиночку?

Но однажды пожелав собеседника, я уже желал больше собеседника, чем спасения. Я хочу сказать, что ради встречи готов был отправиться куда угодно и в разговоре забыть о неудобствах Чистилища; я стерпел бы муки Ада, рассуждая о взаимности вины, об опере, политике, строительстве метро и т.д., а более всего — с угрюмой страстью развивая универсальную идею, в которой все прочее разрешалось бы по принципу внешнего дополнения — так, что горизонталь интегрировала вертикаль и стиралась черта между священным и профанным, поскольку одно тотально поглощало другое.

Из этого следует, что Он опять от меня ускользал — верней, это я соскальзывал как с намыленного столба с вертикали. Кажется, надо было просить о помощи, но я никого никогда не просил о помощи, и Его не хотел, да я и не знал, как загово-

речь с Ним. "Позволь рассказать Тебе, Господи..." — зачем же рассказывать, когда Он и без того всё знает, прежде нежели я открою рот. И знает, что я то и дело превращаю Его из цели в средство.

И тогда я понял, что то, что я называл моим обращением, могло называться как-нибудь иначе. Разумеется, сила чувства, пламя страсти, которой загорелись те, кто первыми услышали призыв, — накал этой страсти намного превышал все, что могли в них разжечь их жены, их матери, их лодки и хижины. Это был уникальный случай, единственный подлинный призыв, — но я-то мог ошибиться. С наименьшей силой меня мог увлечь какой-нибудь предрассудок любимой мысли, абстрактная идея — разумеется, всеобъемлющая, на меньшее я бы не согласился, исполненная величия и блеска. Влечение было бы то же, только иначе направленное, а сила его возрастала бы прямо пропорционально квадрату расстояния от центра, т.е. от самого себя. Я не заметил бы подмены, а слышал бы только воображаемый призыв, в ответ на который ринулся бы опрокидывать свою лодку и тщательно рвать свои сети.

Искаженный и безмерно сниженный, это был бы в моих ушах тот же зов и тот же голос: так обезьяна до ужаса напоминает человека. Все было похоже: та же универсальность, тот же резкий скачок вверх самого уровня обобщения, высота, с которой все остальное видно как с птичьего полета, и та же невозможность спасения в одиночку. Да что там, я даже сумел бы, вероятно, полюбить этот мир и людей, распростершись по горизонтали, коль скоро одна она мне оставалась.

И я думаю, что для Него я, исполнившийся по ошибке такой страсти, — в Его глазах я все-таки не был бы "полым" — в значении, данном этому слову Элиотом. Сверху вниз Он взирал бы на меня пускай с жалостью и замешательством, как человек глядит на шимпанзе, — но шимпанзе все ж, а не насекомое.

Огонь хорош, в него бы крупницу ладана.

Я лишь случайно избежал ошибки. Граница была так незаметна — шаг влево, шаг вправо, — подмена так легка: теперь я зазотел обезопасить себя. Мое обращение должно иметь обратную

силу: ведь и я пришел к Нему не налегке, а с чем-то вроде набитого рюкзака, где было все, что когда-либо видели мои глаза и слышали мои уши. И если все, что было Его, теперь сделалось моим, то все мое должно сделаться Его.

Что мне все это мое без Него, — винегрет без масла, — но и что, вернее — КАК Он мне без моего всего: абстракция, чистая идея, парменидово яйцо, улыбка чеширского кота?

Я ревностно поливал свой винегрет Его маслом. Или, если угодно, я старался, чтобы священное тотально поглотило профанное, — да что за вздор, само деление на священное и профанное опять показалось мне абсурдом, потому что где кончалось одно и начиналось другое? В каком месте рубит топор мясника, отделяя душу от тела?

Мое соотнесение с Ним означало обнажение моей сущности — до конца, до голой формулы. От меня к Нему в восходящем движении постепенно абстрагировался мой предметный мир, спадали одна за другой его оболочки, — а в ответ от Него в нисходящем движении абстракция постепенно одевалась плотью. Я только не знаю, в правильном ли ~~использовании~~ порядке описываю этот двойной процесс: быть может наоборот абстрактное нисходило ко мне в оболочке плоти, а я в ответ торопился начать стриптиз и довести до конца, до голой формулы.

Так или иначе я скоро почувствовал себя прекрасно в этой сакрально-профанной взаимообратимой стихии, и резвился в ней как рыба в воде. Мне было здесь как дома — да я и был дома, ведь проделать все это можно было не выходя из дома: Данте, сто раз повторив "мы шли крутым путем", "дорога шла по краю бездны", наконец замечает, что шаги, и дорогу, и бездну и все его путешествие следует понимать в переносном смысле.

Я был как Адам в Раю до грехопадения, ведь если это не Рай, то каким еще ему быть: синее море, синее небо, золотое солнце и мелкий золотой песок, — и если так легко восстанавливался статус кво анте, зачем было столько препятствий, зачем было столько мук?

Зачем, наконец, был крест?

Или он тоже символ, сравнение?

Но мне больше не нужны были иносказания. Только одно — я хотел им воспользоваться еще раз, последний раз, — зеркалом, которое означало мою попытку соотнесения себя с Ним. Я встал, чтоб попытаться в последний раз увидеть Его через свое отражение, косвенно...

Я не увидел ничего.

В зеркале было пусто. Но зеркало не могло испортиться, предметы не портятся в мире переносного смысла; какое бы то ни было, но там было отражение, — это, наверно, что-то случилось с моими глазами.

А что, собственно, я ожидал увидеть — шимпанзе, рыбу?

Но я не был шимпанзе, поскольку раз и навсегда исключил уже эту опасность. А если я был рыбой, то только в переносном смысле, оттого что так легко плавал в сине-зеленых волнах и так ловко ударами хвоста менял направление.

Я открыл рот, чтоб говорить, кричать, на пузырьках языка уже вскипали пузырьки слов...

Пожалуй, здесь уместно поставить точку.

На самом же деле записи обрываются еще раньше. Путешественник ошибся, сказав: "Я привел в порядок эти бумаги". Какая иллюзия! Он не довел дело и до половины. То, что он вручил мне после стольких отговорок и уклонений, был сырой материал, разнородный, разноцветный, разношерстный, в котором изобиловали темные места, туманные намеки и эзопов язык до того доэзопленный, что сам автор, наверно, на другой день не мог понять, что он имел в виду.

Расшифровав слова, я был вынужден заняться дешифровкой смысла. Мне пришлось также кое-что дополнить и добавить, но несмотря на все усилия мне не удалось довести работу до конца, до логического заключения. Как охотничья собака, я шел по следу, пока чутье вело меня, — и остановился, когда оборвался след.

Началась зима.

Теперь все они жили в коммунальной квартире, укрытые от холода и снега: путешественник — в своей комнате, беременную Ольгу приняла бабушка, а молодого человека — мать. Да, он тоже остался здесь, словно не было ни пруда, ни дома-башни на окраине и никакого обмена.

Путешественник возобновил свои труды. Он очень старался, и удача сопутствовала ему. В короткий срок он сделал такие успехи, что казалось — вот-вот все будет кончено, как вдруг, уже у цели, дело замедлилось и все остановилось.

Но он не отчаивался.

Мужественный человек! Он действительно походил на древнего римлянина. Другой на его месте давно бы все бросил — и головой вниз с 16-го этажа; но не от этого ли искушения спасаясь, он переселился на безопасный 1-ый?

Он ждал, терпел и даже был доволен: хвалил дружную жизнь в квартире. Старушки-соседки перестали шпынять Ольгу, ее беременность делалась уже заметна, а они как-никак женщины. Она же держится приветливо и скромно, а с молодым человеком будто никогда ничего не было: только "доброе утро" и "добрый вечер" при встрече в коридоре. У второй старушки в комнате телевизор, и вечером там все сходятся по-семейному. И он сам пристрастился то ли к телевизору, то ли к женской компании: сидит весь вечер, смотрит все подряд и знает в лицо всех сколько-нибудь значительных политиков. Иногда он вслух оспаривает комментатора, и домашние признают его авторитет.

Конечно, он смеялся, рассказывая об этом, но я видел, что ему приятно.

Молодой человек жил в тепле и уюте, среди дружества и доброты, но был молчалив и печален. Его жалели и считали больным. Мать его получала пенсию — сущие крохи, на двоих не хватало, и путешественник тайком давал ей деньги, хотя сам был стеснен в средствах. Ольгина бабушка иногда приглашала мать и сына к обеду.

Время шло.

Маленький римлянин каждое утро уходил по своим делам, как на работу. Да и не сделались ли в конце концов его долгие хлопоты как бы работой, только без заработка? Но понадобились наконец и деньги. Я знал, что помощи он не примет, но у меня был старый одинокий родственник, всеми забытый, который гнушался выходить на улицу — даже в аптеку, даже погулять с собакой. За такие мелкие услуги он охотно платил, и я пристроил к нему путешественника.

Заработок был невелик, но он обрадовался. Он ходил к вдове пить чай почти каждый вечер, а Ольга теперь встречалась ему не часто, и он начал отвыкать от нее. Вдова значила для него так много, что казалась ему почти женой, и тогда он думал об Ольге как о дочери. А если он все-таки воображал себя мужем Ольги, вдова каким-то образом занимала место его тещи. Он рассказывал:

— Вообразите, на столе у нее чайник большой и малый, кружочки лимона как благородный янтарь, в вазочке сахар сверкает алмазной россыпью, и стоят две чашки на блюдечках. Мне накануне заплатили — благодарю! — и я купил пирог, свежайший, высокий с полукруглым верхом — если смотреть с торца. Я сказал пирог — нет, это был торт, шедевр зодчества, коринфские завитки из крема, коричневые грибочки и алые розочки из крема, зеленые листочки и змейки из крема, флора-фауна, стиль рококо, верней даже барокко, потому что все в целом так величественно! Торт стоит на столе, и крем тает в лучах заходящего солнца. У подножия смиренно лежит нож и специальная лопаточка поддевать куски и класть на тарелку. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я ел торт! Дорогая, говорю я ей, что за благодать видеть, как вы в чашке разминаете лимон с сахаром и только потом, никак не раньше наливаете кипяток и заварку! А она в ответ с улыбкой: позвольте, у вас пуговица висит на ниточке, дайте пришью. И я снимаю пиджак, и... Знаете ли вы, что такое эта классическая, каноническая, священная пуговица, которую женщина пришивает старому холостяку?

Что ж, оставайтесь. Подумайте, ведь вы получаете целую семью в готовом виде. А родится ребеночек — будем его нянчить, я тоже пойду в дедушки, чтобы флиртовать с бабушкой.

- Нет, нет...

- Полно, - сказал я, - признайтесь, что мечта ваша вымышленная, условная и подражательная: там за далью непогоды есть блаженная страна, кеннст ду дас лянц во ди цитронен блюен - а тут цитрон у вас в чашке с сахаром вполне реальный: разве не лучше? Человек - неблагодарное создание.

- Но она же за меня не пойдет, - сказал он, - ни та, ни другая.

Между прочим, соседи ни о чем не подозревали. Его тайну знал я один.

Его рассказы в конце концов возбудили во мне болезненное любопытство. Хотелось увидеть Ольгу, хотелось помочь незамедлительно или впоследствии - ее будущему ребенку. И еще я был бы рад возобновить знакомство с вдовой, опять взглянуть на лук, растущий в банке. Я бы с удовольствием поухаживал за этой милой женщиной. Я напевал: "А наутро она уж улыбалась..."

Отличная песенка, прелестная женщина! Не красавица и не молода, но какой покой в ней, и эта улыбка... как ее описать? Естество аки ангельское - разумея, что ангелы всегда от земли на полметра выше, т.е. держатся на расстоянии, и им ничего не делается. Улыбка Джоконды - которая, кстати, отчего б не альтернатива Сикстинской мадонне? Джоконда с усами; никому, однако, не пришло в голову пририсовать усы мадонне Рафаэля.

Время шло...

Глубокой зимой молодой человек, наконец, взялся за ум. Он начал немного зарабатывать репетиторством. Он преподавал латынь, которую сам вряд ли хорошо знал, но ученики знали еще меньше, во всяком случае они платили. Он уходил и возвращался и уже не избегал соседей, а иногда даже останавливался поговорить в коридоре. Он смягчился; казалось, он понемногу приживается в доме. А однажды вечером, когда все собрались у телевизора, дверь приоткрылась и молодой человек протиснулся в нее боком; он постоял с полчаса, прижавшись к стенке, и незаметно вышел. Через несколько дней он снова появился и

молча сел в углу. Сперва он всем мешал, при нем стеснялись комментировать передачу, но постепенно увлеклись и о нем забыли. Он пришел еще и еще раз.

И тогда старушки решились. "Начнем готовиться, — сказала бабушка Ольги, — а там видно будет:." "Вы совершенно правы, — согласилась хозяйка телевизора, — мы все время слышим, что накопление запасов оружия ведет к войне, так неужели этот закон не действует в добром направлении? Хотя бы раз!"

Готовое приданое, полагали они, приведет к свадьбе. А жених? — либо тот, либо другой.

Но не так все было просто. Для начала следовало купить кровать, а куда ее ставить? А стол, а шкаф? Пришлось бы выбросить старую мебель; из телевизионных передач они знали, что так и делают под Новый год в Италии. Там не стесняются, бросают прямо из окон. И как-то раз вечером, когда собралась вся квартира, они об этом заговорили — не о приданом, не о свадьбе, а только о веселом и любопытном обычае. Маленький путешественник покраснел, побледнел, как разоблаченный преступник, у него прервалось дыхание. Разумеется, старушки шутили, но какие у них при этом были многозначительные лица!

Он немедленно позвонил мне.

Он дрожал от страха, впрочем, и от холода. Мы встретились на улице, когда он прогуливал пса моего дядюшки. В зимней темноте я долго его успокаивал, и понижившись к нему для особой внушительности, сказал, что в стране во дигитронен блюен тоже бывает снег и мороз и даже замерзают на-смерть. Как он пуглив, как недоверчив! Скажут при нем "Италия", "Рим" — значит всему конец. Да не старушки же побегут ему мешать, не встанут ему поперек дороги в Рим. Рим, Рим — а вот отменят транзит в Риме, вторую посадку в Риме, и что тогда от его Рима останется?

Но, может быть, это не страх был, а некая стыдливость души, скрывающей тайну любви. Влюбленный носит в кармане книгу, где случайно упомянуто заветное имя, а назови это имя при нем вслух — он упадет в обморок. Я вспомнил, как часто

Данте пользуется описательным приемом, почти персидским: как бы кружит около предмета, перечисляет его действия и свойства вместо того, чтобы назвать его. А в компенсацию ему хочется все потрогать, как, например, в Раю — коснуться украдкой Иоанна Богослова. Сколько же накопилось подобных вожделений у моего путешественника!

Час был поздний, он повел собаку домой. Я смотрел им вслед: две ноги, четыре, — этому псу лет двадцать пять, и есть у дядюшки внук тоже двадцатипятилетний, который ничего о двух стариках не знает. "Говорят, есть какой-то телефон, который помогает от самоубийства, — сказал мне однажды дядюшка, — не слышал? Ты звонишь, и тебя отговаривают. Впрочем, здесь, наверно, нет. И хорошо, что нет: воображаю, что бы они мне наговорили!"

Да, вот искушение, которому трудно противиться. Предположим, вы живете ненавидя, кляня и любя; тогда одно спасение — поскольку все три приходят ~~вместе~~ не вместе, а по очереди — пить снотворное на время первых двух.

Но верно и то, что зимою этот город чрезвычайно мрачен.

Путешественник не смирялся, он намерен был довести дело до конца, а конца все не было. Он начал уставать. Он плохо спал, и по ночам у него случались кошмары.

Вот его рассказ, который я записал и привожу с небольшими сокращениями.

"Мне снилось: я шел против сильного ветра. Сбивало с ног, я сопротивлялся, но наконец упал — и почувствовал облегчение. Я так устал ходить, особенно же стоять, ожидая автобуса или трамвая, пережидая красный свет на перекрестке, стоять, держа вертикально позвоночник и весь стучащий скелет. И вот я лег ничком и пополз: это оказалось и легче и трудней, чем идти, быть может с непривычки. На локтях, на груди рубашка тотчас изорвалась, дольше держались брюки, но и они стерлись на коленях и наконец на животе, обнажив нежнейшую, всегда скрываемую кожу — о Боже милосердный, вот уж и ссадины, и раны, кровь смешалась с уличной грязью: наверно, на Невском я оставлял за собою широкий мокрый красно-черный

след. Но стало легче, когда, свернув с Невского, я очутился в тени, и солнце не палило затылок и спину. Задрав подбородок, я дополз до Исаакия и замер, пораженный его странным видом. Четкие очертания размякли как тающее масло: ну да, это был торт, долго простоявший на жаре, и некий голос приказал мне, лежащему на животе перед собором: "Ешь!" Передо мной на камни упала чайная ложка, но я отвернулся: ложка ли тут поможет! — и всполз по липким ступеням, по хрупкой хрустящей лестнице из вафель на самый верх и начал лизать купол из шоколадного крема. Губы, нос и подбородок сделались жирные и сладкие, я захватывал сколько мог губами, и меня мутило от запаха и вкуса прогорклого сала. Я спал и знал во сне, что сплю, и боялся, что меня вот-вот стошнит, если не выпью воды. Я встал и в полусне пошел в кухню, открыл кран, и холодная невяская вода потекла оттуда. Я пил из-под крана и полоскал рот, снова пил и не мог напиться; наконец я оторвался от струи, закрыл кран и шатаясь вернулся в постель. Капли падали с подбородка на грудь, целое озеро плескалось у меня в желудке. Тяжело ворочаясь, вздыхая, я заснул опять. Мне привиделся крутой спуск в метро, я был один на неподвижном эскалаторе, в этот час поезда уже не ходили. Я вышел на пустую платформу и спрыгнул на рельсы. Нигде ни души: таков и был мой замысел. Я вошел в туннель — я боялся темноты, но хотел отойти подальше от станции. Помню, я как бы ощущал над собой давящую громаду города — асфальт, тяжелые трамвайные рельсы, дома, дома, отяжелевшие от тел спящих, — все это давило на землю, а сама земля у меня над головой изрыта вдоль и поперек, источена как червивый гриб. Я шел; теперь я был под Невой, под страшной тяжестью воды, туннель сужался: поднимая руку, я со страхом ощупывал свод. Дойдя, по моим расчетам, до середины реки, я остановился, — благодаря моему малому росту я мог стоять прямо, — в руке я держал железный лом, каким скалывают лед с тротуара. Я поднял его и ударил вертикально вниз, тем движением, какое сотни раз видел, когда скалывали лед с тротуара; грохот и грозное эхо напугали меня, но я продолжал бить и в темноте радовался, что

## II

Весной приготовления к свадьбе начались всерьез. Соседки покупали наволочки, простыни, чайник, тарелки, чашки, вилки и ложки — всё простое и дешевое, например, постельное белье без кружева, а кухонная посуда только алюминиевая. Деньги у них были на исходе, но уже в коридоре стояла наготове детская колясочка, в которую сложили купленные пеленки.

Никто однако не называл имени жениха.

В середине марта молодой человек почувствовал себя нехорошо. У него начались головные боли, лихорадка, слабость. Его выхаживали всей квартирой, кормили вскладчину, — ведь это мог быть обычный весенний авитаминоз, — приносили зеленый лук, апельсины, варили куриный бульон. Но ему становилось все хуже, и приглашенный врач нашел злокачественную анемию, очень запущенную. Он нахмурился и сказал, что молодого человека надо поскорее отправить в больницу месяца на два-три, а летом в санаторий куда-нибудь на юг, к морю.

Соседки переглянулись. Они сделали все, что могли, никто на их месте не сделал бы больше. Но Ольгу надо было выдавать замуж немедленно, потому что в мае ожидалась роды. И хотя с одной стороны нехорошо, когда невеста с таким огромным животом, но с другой — ребенку нужен отец.

Очередь была за путешественником.

Ему ничего не сказали, но он понимал без слов. Он колебался, не смея поверить, и робко дарил Ольге цветы. Это было безрассудно: ему едва хватало на еду, но есть он все равно не мог от волнения, и успокаивал себя, что цветы ничего не значат, что цветы можно дарить и невесте другого. Он разрывался — почти буквально — меж двумя своими заветными желаниями и боялся обмана там и тут.

И вот однажды утром в конце апреля вдова вышла к соседкам в кухню, вздохнула и развела руками. Сын, сказала она, исчез этой ночью; а поскольку ни она ни другие не слышали, как открывалась входная дверь, то и предположили, что он вылез в окно: с I-го этажа это возможно и для больного.

Быть может, мать все-таки слышала, как он открывал окно,

быть может — все видела, но не стала вмешиваться и не хотела сказать. Так или иначе все они растерялись: сватья, запасной жених, невеста, — впрочем, про Ольгу вряд ли правильно будет так сказать: ей, похоже, все было ни к чему, кроме будущего ребенка. Она до того растолстела — уж не двойню ли носила?

И никто не знал, что делать!

Но я догадался.

Молодой человек сбежал: ведь у него было убежище, о котором они забыли, там и следовало его искать. И я почел наконец себя вправе своими глазами увидеть героя стольких рассказов и приключений. Я поехал на окраину, вдохнул аромат черемухи и ранней сирени, взглянул на голубой пруд, налитый весенней водой и блестящий под солнцем; в лифте поднялся на 16-ый этаж и вошел без стука в незапертую дверь.

Не может быть! Где же атлетический Адам, прекрасный как одно из деревьев райского сада? Неужели это он — изможденный, костлявый, кожа серая в каких-то коричневых пятнах, на шее и на руках гнойники, болячки, язвы, и колтун в волосах, как на зараженном дереве гнезда гусениц. Возможно, теперь-то он и сделался настоящей душой — поскольку его душа почти ~~еще~~ уже не имела тела, — но вид этой души, облаченной в белесые джинсы и грязную рубашку, был ужасен. А запах...

Но позволь, позволь наконец рассказать Тебе, Господи, как все было на самом деле! Ведь не проделывать же все заново, как будто того, что с нами здесь случилось, вовсе не было!

Но его действительно не было. Все, что случилось, случилось хаотично, и пересказано тоже кое-как, — тогда как должно быть выстроено по смыслу; события и участники их должны обвиться вокруг единого смысла, как длинная змея вокруг дерева, расположиться вокруг единого смысла, как железные опилки вокруг магнитного стержня.

Но смысл-то и есть искомое! Какой кошмар — кружиться на месте, ловить собственный хвост, кусать собственный хвост, тавтологически замыкаясь на себя самого.

Нужен смысл — и не какой-нибудь, а универсальный, достигаемый путем абстрагирования, последовательного освобождения от одежд и самой плоти обстоятельств; стриптиз до конца, когда смысл предстанет голым, верней полым как формула, в которую можно подставить все что угодно.

Он, разумеется, видит одновременно и нас — бесформенную грудку людей и событий, и эту верховную формулу. Но зачем нужно Ему, чтоб мы сами ее выводили?

Быть может, для того, чтобы мы упражнялись в отвлечении от самих себя, поучались взаимозаменяемости. Да-да, в том-то, наверно, и дело: события вообще не имели своего автономного смысла, а только, так сказать, учебно-тренировочный. Всей подстроено, как например, военно-политические смуты во Флоренции произошли единственно с той целью, чтобы у Данте был материал.

Но мы-то старались всерьез — мы думали, что всерьез, а оказывается — только истово что-то имитировали, как обезьяны.

Это еще не Тебе говорится, а так — а и парте. Это еще только подготовка к тому, чтобы сказать, а говорить придется, потому что формула должна быть артикулирована. Полудогадки, четверть-помышления не в счет.

Впрочем, ничего страшного здесь не происходит. Если посмотреть со стороны — двое мирно беседуют, один говорит другому, что не поздно еще, не все потеряно. Молодой человек очень болен, но надо поскорее начать лечиться, сделать переливание крови, постепенно обрасти доброй здоровой плотью и перейти к умеренным физическим упражнениям. Надо вернуться к жизни!

Нет, никто его не намерен поучать, ни — черт возьми! — спасать, но вот есть две женщины, которые его ждут и любят, и родился вчера, 9-го мая, ребенок, сын: уж это, черт побери, не с учебно-тренировочной целью! Или он человек без сердца? Роттердамский человек с дырой в груди, через которую птицы летают туда и обратно без визы, счастливец без желудка, живота и пищеварения! Но шутики в сторону и прочь переносный смысл. Ему должно быть известно, что кроме вертикали, устремленной

ввысь к I-му миру, есть еще горизонталь, направленная на 2-ой и прочие миры, и без этой горизонтальной составляющей он превратится в голый ствол без ветвей, уродливый обрубок.

Позволь рассказать Тебе, Господи... Из-за этой мокрой ямы внизу здесь уже в мае комары. Вон их сколько летает по комнате, острота писка равняется остроте жала, протыкающего кожу сквозь рубашку. Десятки святых Георгиев с копиями и крылатых, с серебряными трубами, пронзительно-тонко вопящими, лишенные тела: только крылья, и вопли, и жала.

Но если ему не хочется называться мужем, сыном и отцом в силу естественного влечения — так тем более: имеется отличная возможность пожертвовать собой. Изобразить собою крест, по горизонтали протянув руки в обе стороны одну над матерью, другую над женой и сыном. За это ему, быть может, впоследствии награда: ведь он, кажется, хотел добраться до Рая?

Времени было много и вдруг осталось так мало — как на экзамене, когда надо скорее сосредоточиться, собраться с мыслями. Позволь рассказать Тебе... но как же вот так сейчас, сразу! Не здесь же! — упасть на колени, лечь ничком, вытянув руки на этом полу, где до земли 16 этажей и еще фундамент, обнимать вместо земли символ, метафору, ложь!

Потому что все очень просто, и надо решать. Квартира нужна новобрачным с новорожденным ребенком: согласен он — прекрасно, молодая семья будет здесь жить, и им с удовольствием помогут свить гнездо, обзавестись хозяйством. Им окажут добрую родственную помощь, которую не стыдно принять, скажем, пасынку от отчима, который сразу сделается дедом и очень этому рад. У нас нынче свадьба за свадьбой, вдова выходит замуж!

Но никто никого не заставит жениться насильно. Нет — не надо, его воля да будет, и пусть ему достанутся все колючки и звездные тернии. Все термины, все золотые шары! Кстати, почему это он вообразил, что в Раю нужна такая бледная немочь, выжатый лимон, дескать — на Тебе, Боже, что нам не гоже? Там все здоровые, красивые, в цветении и плодоношении всех сил и способностей. Но возвращаясь к квартире — она опять-таки нужна новобрачным, и в том — другом — случае будущего супруга и

отца не приходится уговаривать... да вот и он, легок на помысле. Вошел и робко остановился в дверях. Дела его закончены, чемоданы уложены, он может отправляться хоть завтра — или никогда. Он готов к тому и другому, но решать надо немедленно.

Удивительно, что эта высохшая мумия, громоздкий скелет еще способен двигаться, да как резво! Шарахнулся к окну, будто спасается бегством. Зачем же так, не на улицу же его вышвыривают, можно вернуться в старую свою комнату, в новую свою семью к матери и отчиму. Его будут лечить, за ним будут ухаживать...

Стекло задребезжало. На что это он там уставился?

И римлянин бежит туда же, к окну. Там что-то жужжит, можно подумать — летающая тарелка к окну причалила.

Но если так...

О нет, этого я ему не уступлю. В конце концов, он молод еще, подождет, потерпит. Да и тот, 2-ой, он боится и надеется, и вон сколько еще у него желаний, в любом случае на одно больше, чем достаточно. Им обоим не решиться — а ведь тут совсем близко, всего несколько десятков метров вниз по вертикали, и вот уже синее море, синее небо, золотое солнце, свежий ветер и мелкий золотой песок.

Позволь рассказать Тебе, Господи...

+ + +